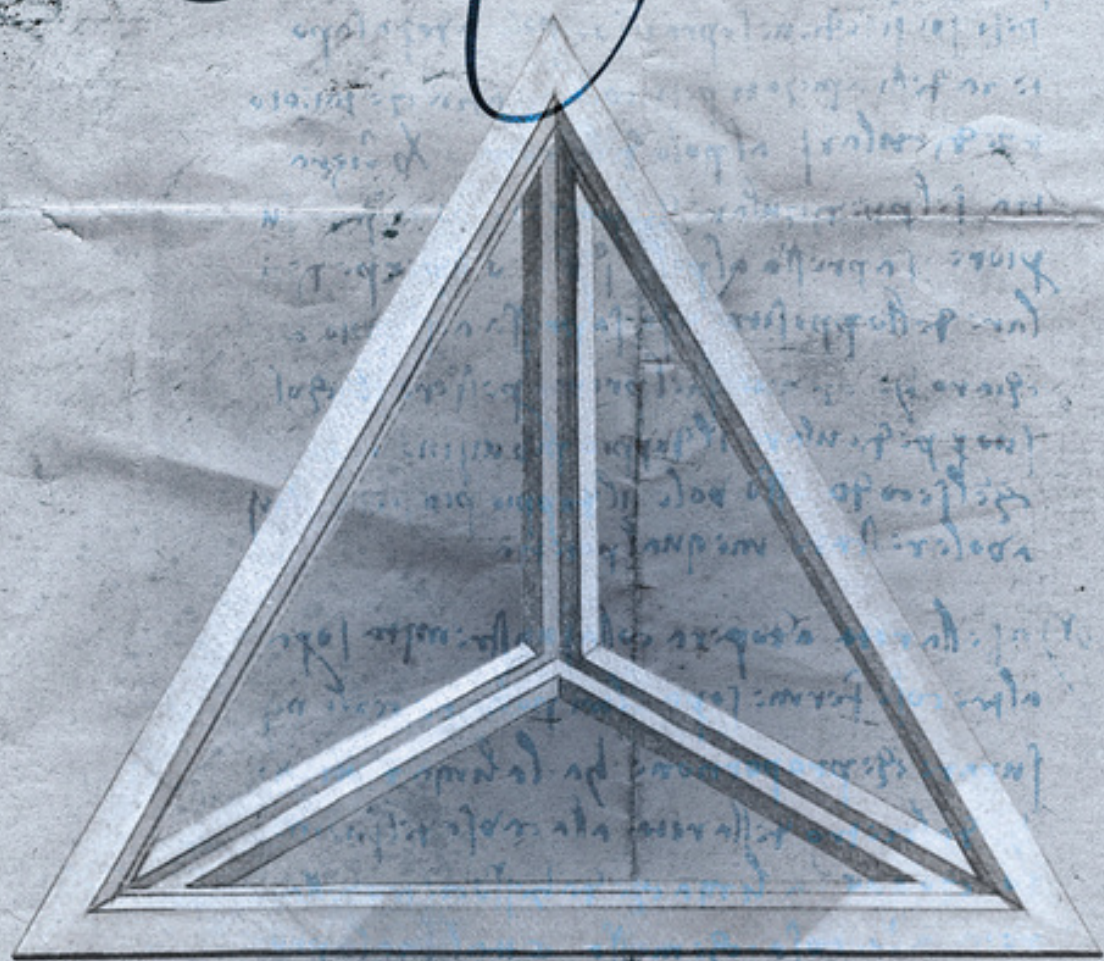


В Л А Д И М И Р ,  
МАКАНИН

Ночь... Запятая...  
Ночь...



НОВАЯ АВТОРСКАЯ РЕДАКЦИЯ!

Владимир Маканин

**Ночь... Запятая...**

**Ночь... (сборник)**

«ЭКСМО»

2018

УДК 821.161.1-31  
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

**Маканин В. С.**

Ночь... Запятая... Ночь... (сборник) / В. С. Маканин —  
«Эксмо», 2018

ISBN 978-5-04-091687-0

«Ночь... Запятая... Ночь...» – сборник повестей и рассказов, написанных в разные годы, – позволяет взглянуть на В.С. Маканина как на писателя, идущего вразрез со всеми: с шестидесятниками, деревенщиками, авторами городской прозы. Он ни на кого не похож, ото всех «отставший», отдельный от всех («Отставший»). Его волнуют такие проблемы, которые и осознаться начинают нами как проблемы только после того, как Маканин их обозначает: о губительности состояния «промежутка», когда человек не может сделать выбор («Утрата»), о неспособности красоты спасти мир от войны и жестокости («Кавказский пленный»), о неотделенности человека от зла («Последний лагерь»).

УДК 821.161.1-31  
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

ISBN 978-5-04-091687-0

© Маканин В. С., 2018  
© Эксмо, 2018

## Содержание

Кавказский пленный	6
Отставший	23
Конец ознакомительного фрагмента.	43

# **Владимир Семенович Маканин**

## **Ночь... Запятая... Ночь...**

© Маканин В., 2018

© Оформление. ООО «Издательство «Э», 2018

\* \* \*



## Кавказский пленный Рассказ

### 1

Солдаты, скорее всего, не знали про то, что *красота спасет мир*, но что такое красота, оба они, в общем, знали. Среди гор они чувствовали красоту (красоту местности) слишком хорошо – она пугала. Из горной теснины выпрыгнул вдруг ручей. Еще более насторожила обоих открытая поляна, окрашенная солнцем до ослепляющей желтизны. Рубахин шел первым, более опытный. Залитое солнцем пространство напомнило Рубахину о счастливом детстве (которого не было). Особняком стояли над травой гордые южные деревья (он не знал их названий). Но более всего волновала равнинную душу эта высокая трава, дышавшая под несильным ветром.

– Стой-ка, Вов. Не спеши, – предупреждает негромко Рубахин.

Быть на незнакомом открытом месте – все равно что быть на мушке. И прежде чем выйти из густого кустарника, Вовка-стрелок вскидывает свой карабин и с особой медлительностью ведет им слева направо, используя оптический прицел как бинокль. Он затаил дыхание. Он оглядывает столь щедрое солнцем пространство. Он замечает у бугра маленький транзисторный приемник.

– Ага! – восклицает шепотом Вовка-стрелок. (Бугор сух. Приемничек сверкнул на солнце стеклом.)

Короткими перебежками оба солдата в пятнистых гимнастерках добираются до вырытой наполовину (и давно заброшенной) траншеи газопровода – до рыжего, в осенних красках бугра.

Они повертели в руках: они уже узнали приемничек. Ефрейтор Боярков, напившись, любил уединиться, лежа где-нибудь в обнимку с этим стареньким транзистором. Раздвигая высокую траву, они ищут тело. Находят неподалеку. Тело Бояркова привалено двумя камнями. Обрел смерть. (Стреляли в упор – он, похоже, и глаза свои пьяные не успел протереть. Впалые щеки. В части решили, что он в бегах.) Документов никаких. Надо сообщать. Но почему боевики не взяли транзистор? Потому что улика? Нет. А потому, что слишком он старенький и дребезжащий. Не вещь.

Необратимость случившегося (смерть – один из ясных случаев необратимости) торопит и против воли подгоняет: делает обоих солдат суетными. Орудя плоскими камнями как лопатами, они энергично и быстро закапывают убитого. Так же наскоро слепив над ним холмик земли (приметный насыпной холм), солдаты идут дальше.

И вновь – на самом выходе из теснины – высокая трава. Ничуть не пожухла. Тихо колышется. И так радостно перекликаются в небе (над деревьями, над обоими солдатами) птицы. Возможно, в этом смысле красота и спасает мир. Она нет-нет и появляется, как знак. Не давая человеку сойти с пути. (Шагая от него неподалеку. С присмотром.) Заставляя насторожиться, красота заставляет помнить.

Но на этот раз открытое солнечное место оказывается знакомым и неопасным. Горы расступаются. Впереди ровный путь, чуть дальше наезженная машинами пыльная развилка, а там – и воинская часть. Солдаты невольно прибавляют шаг.

Подполковник Гуров, однако, не в части, а у себя дома. Надо идти. Не передохнув и минуты, солдаты топают туда, где живет подполковник, всесильный в этом месте, а также во всех примыкающих (красивых и таких солнечных) местах земли. Живет он с женой в хорошем деревенском доме, с верандой для отдыха, увитой виноградом; при доме есть и хозяйство. Время жаркое – полдень. На открытой веранде подполковник Гуров и его гость Алибеков; раз-

моренные обедом, они дремлют в легких плетеных креслах в ожидании чая. Рубахин докладывает, запинаясь и несколько робея.

Гуров сонно смотрит на них обоих, таких пропыленных (пришедших к нему незвано и – что тоже не в пользу – совсем незнакомых ему своими лицами); на миг Гуров молодеет: резко повысив голос, он выкрикивает – никакой подмоги кому бы то ни было, какая, к чертям, подмога! – ему даже смешно слушать, чтобы он направил куда-то своих солдат выручать грузовики, которые по собственной дурости *влипли* в ущелье!..

Больше того: он их так не отпустит. Рассерженный, он велит обоим солдатам заняться песком: пусть-ка они честно потрутся – помогут во дворе. Кррругом – аррш! И чтоб разбросали ту гору песка у въезда. И чтоб песок по всем дорожкам! – к дому и к огороду – грязь всюду, мать ее перемать, не пройдешь!.. Жена подполковника, как и все хозяйки на свете, рада дармовым солдатским рукам. Анна Федоровна, с засученными рукавами, в грязных разбитых мужских ботинках, тут же и появляется на огороде с радостными кликами: пусть, пусть еще и с грядками ей помогут!..

Солдаты развозят песок на тачках. Разбрасывают его, сеют лопатами по дорожкам. Жара. А песок сырой, брали, видно, у речки.

Вовка водрузил на кучу песка транзистор убитого ефрейтора, нашел поддерживающую дух ритмичную музыку. (Но негромко. Для своего же блага. Чтоб не помешать Гурову и Алибекову, разговаривающим на веранде. Алибеков, судя по доносящимся тягучим его словам, выторговывает оружие – дело важное.)

Транзистор на песчаном бугре еще раз напоминает Рубахину, какое красивое место выбрал себе Боярков на погибель. Пьяненький дурак, он в лесу спать побоялся, на полянку вышел. Еще и к бугру. Когда боевики набегали, Боярков толкнул свой приемничек в сторону (своего верного друга), чтобы тот сполз с бугра в траву. Боялся, что отнимут, – мол, сам как-нибудь, а его не отдам. Едва ли! Заснул он пьяный, а приемник попросту выпал у него из рук и, съехав на чуть, скатился по склону.

Убили в упор. Молодые. Из тех, что хотят поскорее убить первого, чтобы войти во вкус. Пусть даже сонного. Приемник стоял теперь на куче песка, а Рубахин видел тот залитый солнцем рыжий бугор, с двумя цепкими кустами на северном склоне. Красота места поразила, и Рубахин – памятью – не отпускает (и все больше вбирает в себя) склон, где уснул Боярков, тот бугор, траву, золотую листву кустов, а с ними еще один опыт выживания, который ничем незаменим. Красота постоянна в своей попытке спасти. Она окликнет человека в его памяти. Она напомнит.

Сначала они разгоняли тачки по вязкой земле, потом догадались: покидали по дорожкам доски. Первым шустро катит тачку Вовка, за ним, нагрузив горой, толкает свою огромную тачку Рубахин. Он разделся до пояса, поблескивая на солнце мощным и мокрым от пота телом.

## 2

– Даю десять «Калашниковых». Даю пять ящиков патронов. Ты слышал, Алибек, – не три, а пять ящиков.

– Слышал.

– Но чтоб к первому числу провиант...

– Я, Петрович, после обеда немного сплю. Ты тоже, как я знаю. Не забыла ли Анна Федоровна наш чай?

– Не забыла. За чай не волнуйся.

– Как не волноваться! – смеется гость. – Чай – это тебе не война, чай остывает.

Гуров и Алибеков помалу возобновляют свой некончающийся разговор. Но вялость слов (как и некоторая ленивость их спора) обманчива – Алибеков прибыл за оружием, а Гурову, его

офицерам и солдатам, позарез нужен провиант, прокорм. Обменный фонд, конечно, оружие; иногда бензин.

– Харч чтобы к первому числу. И чтоб без этих дурацких засад в горах. Вино не обязательно. Но хоть сколько-то водки.

– Водки нет.

– Ищи, ищи, Алибек. Я же ищу тебе патроны!

Подполковник зовет жену: как там чай? ах, какой будет сию минуту отменный крепкий чай! – Аня, как же так? ты кричала нам с грядок, что уже заварила!

В ожидании чая оба неспешно, с послеобеденной ленцой закуривают. Дым так же лениво переползает с прохладной веранды на виноград и – пластами – тянется в сторону огорода.

Сделав Рубахину знак: мол, попытаюсь добыть выпивки (раз уж здесь застряли), стрелок отходит шаг за шагом к плетеному забору. (У Вовки всегда хитрые знаки и жесты.) За плетнем молодая женщина с ребенком, и Вовка-стрелок тотчас с ней перемигивается. Вот он перепрыгнул плетень и вступает с ней в разговор. Молодец! А Рубахин знай толкает тачку с песком. Кому что. Вовка из тех бойких солдат, кто не выносит вялотекущей работы. (И всякой другой работы тоже.)

И надо же: поладили! Удивительно, как сразу эта молодуха идет навстречу – словно бы только и ждала солдата, который ласково с ней заговорит. Впрочем, Вовка симпатичный, улыбочивый и где на лишнюю секунду задержится – пустит корешки.

Вовка ее обнимает, она бьет его по рукам. Дело обыкновенное. Они на виду, и Вовка понимает, что надо бы завлечь ее в глубь избы. Он уговаривает, пробует с силой тянуть за руку. Молодуха упирается: «А вот и нету!» – смеется. Но за шагом шаг они смещаются оба в сторону избы, к приоткрытой там из-за жары двери. И вот они там. А малыш, неподалеку от двери, продолжает играть с кошкой.

Рубахин тем временем с тачкой. Где не проехать, он, перебрав с прежних мест, вновь выложил доски в нитку – он осторожно вел по ним колесо, удерживая на весу тяжесть песка.

Подполковник Гуров продолжает неторопливый торг с Алибековым, жена (она вымыла руки, надела красную блузку) подала им чай, каждому свой – два по-восточному изящных заварных чайника.

– Хорошо заваривает, умеет! – хвалит Алибеков.

Гуров:

– И чего ты упрямисься, Алибек!.. Ты ж, если со стороны глянуть, пленный. Все ж таки не забывай, где ты находишься. Ты у меня сидишь.

– Это почему же я – у тебя?

– Да хоть бы потому, что долины здесь наши.

– Долины ваши – горы наши.

Алибеков смеется:

– Шутишь, Петрович. Какой я пленный... Это ты здесь пленный! – Смеясь, он показывает на Рубахина, с рвением катящего тачку: – Он пленный. Ты пленный. И вообще каждый твой солдат – пленный!

Смеется:

– А я как раз не пленный.

И опять за свое:

– Двенадцать «калашей». И семь ящиков патронов.

Теперь смеется Гуров:

– Двенадцать, ха-ха!.. Что за цифра такая – двенадцать? Откуда ты берешь такие цифры?.. Я понимаю – десять; цифра как цифра, запомнить можно. Значит, стволов – десять!

– Двенадцать.

– Десять...



Алибеков восхищенно вздыхает:

– Вечер какой сегодня будет! Ц-ц!

– До вечера еще далеко.

Они медленно пьют чай. Неторопливый разговор двух давно знающих и уважающих друг друга людей. (Рубахин катит очередную тачку. Накреняет ее. Ссыпает песок. Разбрасывая песок лопатой, ровняет с землей.)

– Знаешь, Петрович, что старики наши говорят? В поселках и аулах у нас умные старики.

– Что ж они говорят?

– А говорят они – поход на Европу пора делать. Пора опять идти туда.

– Хватил, Алибек. Евро-опа!..

– А что? Европа и есть Европа. Старики говорят, не так далеко. Старики недовольны. Старики говорят, куда русские, туда и мы – и чего мы друг в дружку стреляем?

– Вот ты и спроси своих кунаков – чего?! – сердито вскрикивает Гуров.

– О-о-о, обиделся. Чай пьем – душой добреем...

Какое-то время они молчат. Алибеков снова рассуждает, неторопливо подливая из чайника в чашку:

– ...не так уж она далеко. Время от времени ходить в Европу надо. Старики говорят, что сразу у нас мир станет. И жизнь как жизнь станет.

– Когда еще станет. Жди!

Гуров вздыхает:

– Вечер и правда будет чудный сегодня. Это ты прав.

– А я всегда прав, Петрович. Ладно, десять «калашей», согласен. А патронов – семь ящиков...

– Опять за свое. Откуда ты берешь такие цифры – нет такой цифры семь!

Хозяйка несет (в двух белых кастрюлях) остатки обеда, чтобы скормить пришлым солдатам. Рубахин живо откликается – да! да! Солдат разве откажется!.. «А где второй?» И тут запинаящемуся Рубахину приходится тяжело лгать: мол, ему кажется, у стрелка живот скрутило. Подумав, он добавляет чуть более убедительно: «Мается, бедный». – «Может, зелени наелся? яблок?» – спрашивает сердобольно подполковничиха.

Окрошка вкусна, с яйцом, с кусками колбасы; Рубахин так и склонился над первой кастрюлей. При этом он громко бьет ложкой по краям, гремит. Знак.

Вовка-стрелок слышит (и, конечно, понимает) звук стучащей ложки. Но ему не до еды. Молодая женщина в свою очередь слышит (и тоже понимает) доносящееся со двора истеричное мяуканье и вслед вскрик оцарапанного малыша: «Маа-ам!..» Видно, задергал кошку. Но женщина сейчас вся занята чувством: истосковавшаяся по ласке, с радостью и с жадностью она обнимает стрелка, не желая упустить свой случай. Про стрелка и говорить нечего – солдат есть солдат. И тут снова детский капризный крик: «Ма-аааа...»

Женщина срывается с постели – высунув голову в дверь, она цыкнула на малыша; и приотворяет дверь плотнее. Босо протопав, возвращается к солдату; и словно вся вспыхивает заново. «Ух, жаркая! Ух, ты даешь!» – восхищен Вовка, а она зажимает ему рот: «Тс-сс...»

Шепотом Вовка излагает ей нехитрый солдатский наказ: просит молодую женщину сходить в сельпо и купить там дрянного их портвейна, солдату в форме не продадут, а ей это пустяк...

Он делится с ней и главной заботой: им бы сейчас не бутылку – им бы ящик портвейна.

– Зачем вам?

– В уплату. Дорогу нам заперли.

– А че ж вы, если портвейн нужен, к подполковнику пришли?

– Дураки, вот и пришли.

Молодая женщина вдруг плачет – рассказывает, что недавно она сбилась с дороги и ее изнасиловали. Вовка-стрелок, удивленный, присвистывает: вот ведь как!.. Посочувствовав, он спрашивает (с любопытством), сколько же их было? – их было четверо, она всхлипывает, утирая глаза уголком простыни. Ему хочется порасспросить. Но ей хочется помолчать. Она утыкается головой, ртом ему в грудь: хочется слов утешения; простое чувство.

Разговаривают: да, бутылку портвейна она, конечно, купит ему, но только если стрелок пойдет с ней к магазину. Она сразу же купленную бутылку ему передаст. Не может она с бутылкой идти домой... после того что с ней случилось, – люди знают, люди что подумают...

Во второй кастрюле тоже много еды: каша и кусок мяса из консервов, – Рубахин все уминает. Он ест небыстро, нежадно. Запивает двумя кружками холодной воды. От воды его немного знобит, он надевает гимнастерку.

– Отдохнем малость, – говорит он самому себе и уходит к плетню.

Он прилег: впадает в дрему. А из соседнего домика, куда скрылся Вовка, через открытое окно доносится тихий сговор.

Вовка: – ...тебе подарок куплю. Косынку красивую. Или шаль тебе разыщу.

Она: – Ты ж уедешь. (Заплакала.)

Вовка: – Так я пришлю, если уеду! Какое тут сомненье!..

Вовка долго упрашивал, чтобы она стоя согнулась. Не слишком высокий Вовка (он этого никогда не скрывал и охотно рассказывал солдатам) любил обхватить крупную женщину сзади. Неужели она не понимает? Так приятно, когда женщина большая... Она отбивалась, отнекивалась. Под их долгий, жаркий шепот (слова уже становились неразличимы) Рубахин уснул.

Возле магазина, едва получив портвейн из ее рук, Вовка сует бутылку в глубокий надежный карман солдатских брюк и – бегом, бегом – к Рубахину, которого он оставил. Молодая женщина так его выручила, и кричит, с некоторой опаской напрягая на улице голос, кричит вслед с упреком, но Вовка машет рукой, уже не до нее – все, все, пора!.. Он бежит узкой улицей. Он бежит меж плетней, срезая путь к дому подполковника Гурова. Есть новость (и какая новость!) – стрелок стоял, озираясь, возле их заплеванного магазинишки (ожидая бутылку) и услышал об этом от проходивших мимо солдат.

Перепрыгнув плетень, он находит спящего Рубахина и толкает его:

– Рубаха, слышь!.. Дело верное: старлей Савкин пойдет сейчас в лес на разоружение.

– А? – Рубахин заспанно смотрит на него.

Вовка сыплет словами. Торопит:

– На разоружение идут. Нам бы с ними. Прихватим чурку – вот бы и отлично! Ты ж сам говорил...

Рубахин уже проснулся. Да, понял. Да. Будет как раз. Да-а, нам, скорее всего, там повезет – надо идти. Солдаты тихо-тихо выбирают из подполковничьей усадьбы. Они осторожно забирают вещмешки, свое оружие, стоявшее у колодца. Они перелезают плетень и уходят чужой калиткой, чтобы те двое, с веранды, их не увидели и не окликнули.

Их не увидели и не окликнули. Сидят.

Жара. Тихо. И Алибеков негромко напевает, голос у него чистый:

Все здесь замерло-ooo до утра-aaa...

Тихо.

– Люди не меняются, Алибек.

– Не меняются, думаешь?

– Только стареют.

– Ха. Как мы с тобой... – Алибеков подливает тонкой струей себе в чашку. Ему уже не хочется торговаться. Грустно. К тому же все слова он сказал, и теперь правильные слова сами (своей неспешной логикой) доберутся до его старого друга Гурова. Можно не говорить вслух. – Вот чай хороший совсем исчез.

– Пусть.

– Чай дорожает. Еда дорожает. А время не меня-я-ется, – тянет слова Алибеков.

Хозяйка как раз вносит на смену еще два заварных чайника. Чай – это верно. Дорожает. «Но меняется время или нет, а прокорм ты, брат, привезешь...» – думает Гуров и тоже слова вслух пока не произносит.

Гуров знает, что Алибеков поумнее, похитрее его. Зато его, Гурова, немногие мысли прочны и за долгие годы продуманы до такой белой ясности, что это уже и не мысли, а части его собственного тела, как руки и ноги.

Раньше (в былые-то дни) при интендантских сбоях или просто при задержках с солдатским харчем Гуров тотчас надевал парадный мундир. Он цеплял на грудь свой орден и медали. В армейском «козлике» ГАЗ-69 (с какой пылью, с каким ветерком!) мчал он по горным извилистым дорогам в районный центр, пока не подкатывал наконец к известному зданию с колоннами, куда и входил, не сбавляя шага (и не глядя на умученных ожиданием посетителей и просителей), прямиком в кабинет. А если не в райкоме, то в исполкоме. Гуров умел добиться. Бывало, и сам рулил на базу, и взятку давал, а иногда еще и умасливал кого нужно красивым именным пистолетом (мол, пригодится: Восток – это Восток!.. Он и думать не думал, что когда-нибудь эти игривые слова сбудутся). А теперь пистолет ничто, тьфу. Теперь десять стволов мало – дай двенадцать. Он, Гуров, должен накормить солдат. С возрастом человеку все тяжелее даются перемены, но взамен становишься более снисходителен к людским слабостям. Это и равновесит. Он должен накормить также и самого себя. Жизнь продолжается, и подполковник Гуров помогает ей продолжаться – вот весь ответ. Обменивая оружие, он не думает о последствиях. При чем здесь он?.. Жизнь сама собой переменялась в сторону всевозможных обменов (меняй что хочешь на что хочешь) – и Гуров тоже менял. Жизнь сама собой переменялась в сторону войны (и какой дурной войны – ни войны, ни мира!) – и Гуров, разумеется, воевал. Воевал и не стрелял. (А только время от времени разоружал по приказу. Или, в конце концов, стрелял по другому приказу; свыше.) Он поладит и с этим временем, он соответствует. Но... но, конечно, тоскует.

Тоскует по таким понятным ему былым временам, когда, примчавшись на своем «газике», он входил в тот кабинет и мог накричать, всласть выматерить, а уж потом, снисходя до мира, развалиться в кожаном кресле и покуривать с райкомовцем, как с дружкой-приятелем. И пусть ждут просители за дверью кабинета. Однажды не застал он райкомовца ни в кабинете, ни дома: тот уехал. Но зато застал его жену. (Поехав к ним домой.) И отказа тоже не было. Едва начинавшему тогда сидеть, молодцеватому майору Гурову она дала все, что только может дать скужающая женщина, оставшаяся летом в одиночестве на целую неделю. Все, что могла. Все, и даже больше, подумал он (имея в виду ключи от огромного холодильника номер два, их районного мясокомбината, где складировали свежеекопченное мясо).

– Алибек. Я тут вспомнил. А копченого мяса ты не достанешь?..

### 3

Операция по разоружению (еще с ермоловских времен она и называлась «подковой») сводилась к тому, что боевиков окружали, но так и не замыкали окружение до конца. Оставляли один-единственный выход. Торопясь по этой тропе, боевики растягивались в прерывистую цепочку, так что из засады – хоть справа, хоть слева – взять любого из них, утянуть в кусты (или в прыжке сбить с тропы в обрыв и там разоружить) было делом не самым простым, но возможным. Конечно, все это время шла частая стрельба поверх голов, пугавшая и заставлявшая их уходить.

Оба затесались в число тех, кто шел на разоружение, однако Вовку высмотрели и тотчас изгнали: старлей Савкин полагался только на своих. Взгляд старлея скользнул по мощной

фигуре Рубахина, но не уперся в него, не царапнул, и хрипато приказав «Два шага вперед!..» не последовало – скорее всего, старлей просто не приметил. Рубахин стоял в группе самых мощных и крепких солдат, он с ними сливался.

А как только началась стрельба, Рубахин поспешил и уже был в засаде; он покуривал в кустах с неким ефрейтором Гешей. Солдаты-старогодки, они вспоминали тех, кто демобилизовался. Нет, не завидовали. Хера ли завидовать? Неизвестно, где лучше...

– Шустро бегут, – сказал Геша, не подымая глаз на мелькавшие в кустах тени.

Боевики бежали сначала по двое, по трое, с шумом и треском проносясь по заросшей кустами старинной тропе. Но кого-то из одиночек уже расхватывали. Вскрик. Возня... и тишина. («Взяли?» – глазами спрашивал Геша Рубахина, и тот кивком отвечал: «Взяли».) И вновь нарастал треск в кустах. Приближались. Стрелять они еще худо-бедно умели (и убивать, конечно, тоже), но бежать через кусты с оружием в руках, с патронташем на шее да еще под выстрелами – конечно, тяжело. Спугнутые, натываясь на огонь из засад, боевики сами собой устремлялись по тропе, что вроде бы все сужалась и уводила их в горы.

– А вот этот будет мой – лады? – сказал Рубахин, привставая и ускоряя шаг к просвету.

– Ни пуха! – Геша наскоро докуривал.

Оказалось, «этот» не одиночка – бежали двое, но уже выпрыгнувший из кустов Рубахин упускать их права не имел. «Сто-оой! Сто-оой!..» Он кинулся с пугающим криком за ними. Стартовал Рубахин неважнецки. Ком мускулов развить скорость сразу не мог, но уж, когда он разогнался, ни кривой куст, ни осыпь под ногой значения не имели – летел.

Он мчался уже метрах в шести от боевика. А первый (то есть бежавший первым) шел резвее его, уходил. Второго (тот был уже совсем близко) Рубахин не опасался, он видел болтающийся на шее автомат, но патроны расстреляны (или же боевик стрелять на бегу был неловок?). Первый опаснее, автомата не было, и значит, пистолет.

Рубахин нагнал. Сзади он слышал поступь бегущего следом – ага, Гешка прикрыл! Двое надвое...

Нагнав, он не стал ни хватать, ни валить (пока с ним, упавшим, разберешься, первый наверняка уйдет). Сильным ударом левой он сбил его в овраг, в ломкие кусты, крикнув Геше: «Один в канаве! Возьми его!..» – и рванул за первым, длинноволосым.

Рубахин шел уже самым быстрым ходом, но и тот был бегун. Едва Рубахин стал его доставать, он тоже прибавил. Теперь шли вровень, их разделяло метров восемь-десять. Обернувшись, убегающий вскинул пистолет (явно наш, офицерский) и выстрелил – Рубахин увидел, что он совсем молодой. Еще выстрелил. (И терял скорость. Если б не стрелял, он бы ушел.)

Стрелял он через левое плечо, пули сильно недобирали, так что Рубахин не пригибался каждый раз, когда боевик заносил руку для выстрела. Однако все патроны не стал расстреливать, хитрец. Стал уходить. Рубахин тотчас понял. Не медля больше, Рубахин швырнул свой автомат ему по ногам. Этого, конечно, хватило.

Бегущий вскрикнул от боли, дернулся и стал заваливаться. Рубахин достал его прыжком, подмял, правой рукой прихватывая за запястье, где пистолет. Пистолета не было. Падая, выронил его, тот еще боец!.. Рубахин завел ему руки, вывернув плечо, конечно, с болью. Тот ойкнул и обмяк. Рубахин, все еще на порыве, извлек из кармана ремешок, скрутил руки, посадил у дерева, притолкнув несильное тело к стволу – сиди!.. И только тут встал наконец с земли и ходил по тропе, отдыхаясь и ища в траве – уже внимательным глазом – свой автомат и выброшенный беглецом пистолет.

Снова топот – Рубахин скакнул с тропы в сторону, к корявому дубку, где сидел пойманный. «Тихо!» – велел ему Рубахин. В мгновение проскочили мимо них несколько удачливых и быстроногих боевиков. За ними, матюкаясь, бежали солдаты. Рубахин не вмешивался. Он дело сделал.

Он глянул на пойманного: лицо удивило. Во-первых, молодостью, хотя такие юнцы, лет шестнадцати-семнадцати, среди боевиков бывали нередко. Правильные черты, нежная кожа. Чем-то еще поразило его лицо кавказца, но чем? – он не успел понять.

– Пошли, – сказал Рубахин, помогая ему (со скрученными за спиной руками) подняться. Когда шли, предупредил:

– И не бежать. Не вздумай даже. Я не застрелю. Но я сильно побью – понял?

Молодой пленник прихрамывал. Автомат, что швырнул Рубахин, поранил ему ногу. Или притворяется?.. Пойманный обычно старается вызвать к себе жалость. Хромает. Или кашляет сильно.

#### 4

Обезоруженных было много, двадцать два человека, и потому, возможно, Рубахин отстоял своего пленного без труда. «Этот мой!» – повторял, держа руку на его плече, Рубахин в общем шуме и гаме – в той последней суете, когда пленных пытаются построить, чтобы вести в часть. Напряжение никак не спадало. Пленные толпились, боясь, что их сейчас разделят. Держались один за другого, перекрикиваясь на своем языке. У некоторых даже не были связаны руки. «Почему твой? Вон сколько их – все они наши!» Но Рубахин качал головой: мол, те наши, а этот – мой. Появился Вовка-стрелок, как всегда вовремя и в свою минуту. Куда лучше, чем Рубахин, он умел и сказать правду, и задурить голову. «Нам необходимо! Оставь! Записка от Гурова... Нам для обмена пленных!» – вдохновенно лгал он. «Но ты доложи старлею». – «Уже доложено. Уже договорено!» – продолжал Вовка вздохнув, мол, подполковник сейчас чай пьет у себя дома (что было правдой) – они вдвоем только что оттуда (тоже правда), и Гуров, мол, самолично написал для них записку. Да, записка там, на КП...

Вовка заметно осунулся. Рубахин недоуменно глянул в его сторону: как-никак через кусты за длинноволосым бежал он – ловил и вязал он, потел он, а осунулся Вовка.

Пленных (наконец построив) повели к машинам. Отдельно несли оружие, и кто-то вслух вел счет: семнадцать «Калашниковых», семь пистолетов, десяток гранат. Двое убитых во время гона, двое раненых, у нас тоже один ранен и Коротков убит... Крытые брезентом грузовики вытянулись в колонну и в сопровождении двух бэтээров (в голове и в хвосте) с ревом, набирая все больше скорости, двинулись в часть. Солдаты в машинах возбужденно обсуждали, горлалили. Все хотели есть.

По прибытии, едва вылезли из машины, Рубахин и Вовка-стрелок вместе со своим пленным тут же отбились в сторону. К ним не цеплялись. С пленными в общем-то делать нечего: молодых отпустят, матерых месяца два-три подержат на гауптвахте, как в тюрьме, ну а если побегут – их не без удовольствия постреляют... война! Бояркова, быть может, эти же самые боевики застрелили спящего (или только-только открывшего со сна глаза). Лицо без единой царапины. И муравьи ползли. В первую минуту Рубахин и Вовка стали сбрасывать муравьев. Когда перевернули, в спине Бояркова сквозила дыра. Стреляли в упор; но пули не успели разойтись и ударили в грудь кучно: проломив ребра, пули вынесли наружу все его нутро – на земле (в земле) лежало крошево ребер, на них печень, почки, круги кишок, все в большой стылой луже крови. Несколько пуль застопорило на еще исходящих паром кишках. Боярков лежал перевернутый с огромной дырой в спине. А его нутро, вместе с пулями, лежало в земле. Вовка заворачивал к столовой.

– ...На обмен взяли. Подполковник разрешение дал, – спешил сказать Вовка, опережая расспросы встретившихся солдат из взвода Орликова.

Солдаты, сытые после еды, выкрикивали ему: мол, передавай привет. Спрашивали: кто в плену? на кого меняем?!

– На обмен, – повторял Вовка-стрелок.

Ваня Бравченко засмеялся:

– Валюта!

Сержант Ходжаев крикнул:

– Молодцы, хорошо поймали! Таких любят!.. Их начальник, – он мотнул головой в сторону гор, – таких очень любит.

Чтобы пояснить, Ходжаев еще и засмеялся, показав крепкие белые солдатские зубы.

– Два, три, пять человек на одного выменяешь! – Крикнул он. – Таких как девушку любят! – И, поравнявшись, он подмигнул Рубахину.

Рубахин хмыкнул. Он вдруг догадался, что его беспокоило в плененном боевике: юноша был очень красив.

Пленный не слишком хорошо говорил по-русски, но, конечно, все понимал. Злобно, с гортанно взвизгивающими звуками он выкрикнул Ходжаеву что-то в ответ. Скулы и лицо вспыхнули, отчего еще больше стало видно, что он красив – длинные, до плеч, темные волосы почти сходились в овал. Складка губ. Тонкий, в нитку, нос. Карие глаза заставляли особенно задержаться на них – большие, вразлет и чуть враскос.

Вовка быстро сговорился с поваром. Перед дорогой надо было хорошо поесть. За длинным дощатым столом шумно и душно; жарко. Сели с краю – и тут же из вещмешка Вовка извлек ополовиненную бутылку портвейна; скрытным движением он сунул ее под столом Рубахину, чтобы тот, зажав бутылку, как водится, меж колен, незаметно для других ее допил. «Ровняк половину тебе оставил. Цени, Рубаха, мою доброту!...»

Поставил тарелку и перед пленным:

– Нэ хачу, – резко ответил тот. Отвернулся, качнув темными локонами.

Вовка придвинул к нему ближе:

– Хотя бы мясо порубай. Дорога долгая.

Пленный молчал. Вовка заволновался, что тот, пожалуй, двинет сейчас локтем тарелку и столь трудно выпрошенная у повара лишняя каша с мясом будет на полу.

Он быстро разбросал третью порцию по тарелкам себе и Рубахину. Поели. Пора было идти.

## 5

У ручья они пили, зачерпывая по очереди воду пластмассовым стаканчиком. Пленного, видно, мучила жажда; стремительно шагнув, он, словно рухнул, упал на колени, гремя галькой. Он не дождался, пока развяжут руки или напоят из стаканчика, – стоя на коленях и склонившись к быстрой воде лицом, долго пил. Связанные сзади посиневшие руки при этом задирались кверху; казалось, он молится каким-то необычным способом.

Потом сидел на песке. Лицо мокро. Прижимая щеку к плечу, он пытался сбросить без помощи рук нависшие там и тут на лице капли воды. Рубахин подошел:

– Мы бы дали тебе напиться. И руки бы развязали... Куда спешишь?

Не ответил. Рубахин посмотрел на него и ладонью отер ему воду на подбородке. Кожа была такой нежной, что рука Рубахина дрогнула. Не ожидал. И ведь точно! Как у девушки, подумал он.

Глаза их встретились, и Рубахин тут же отвел взгляд, смутившись вдруг скользнувших и не слишком хороших мыслей.

На миг насторожил Рубахина ветер, шумнувший в кустах. Как бы не шаги?.. Смущение отступило. (Но оно только припряталось. Не ушло совсем.) Рубахин был простой солдат – он не был защищен от человеческой красоты как таковой. И вот уже вновь словно бы исподволь напрашивалось новое и незнакомое ему чувство. И, конечно, он отлично помнил, как крикнул тогда и как подмигнул сержант Ходжаев. Сейчас предстояло быть и вовсе лицом к лицу.



Пленный не мог самостоятельно перейти ручей. Крупная галька и напористое течение, а он был бос, и нога распухла у щиколотки так сильно, что уже в самом начале пути ему пришлось сбросить свои красивые кроссовки (на время они лежали в вещмешке Рубахина). Если при переходе ручья раз-другой упадет, он может стать никуда не годным. Ручей потащит волоком. Выбора нет. И понятно, что Рубахин, кто же еще, должен был нести его через воду: не он ли, когда брал в плен, броском своего автомата повредил ему ногу?

Чувство сострадания помогло Рубахину; сострадание пришло ему в помощь очень кстати и откуда-то свыше, как с неба (но оттуда же нахлынули вновь смущение заодно с новым пониманием опасной этой красоты). Рубахин растерялся лишь на миг. Он подхватил юношу на руки, нес через ручей. Тот дернулся, но руки Рубахина были мощны и сильны.

– Ну-ну. Не брыкайся, – сказал он, и это были примерно те же грубоватые слова, какие сказал бы он в подобной ситуации женщине.

Он нес; слышал дыхание юноши. Тот нарочито отвернул лицо, и все же его руки (ему развязали на время перехода), обхватившие Рубахина, были цепки – он ведь не хотел упасть в воду, на камни. Как и всякий, кто несет на руках человека, Рубахин ничего не замечал под ногами и ступал осторожно. Скосив глаза, он только и видел бегущую вдали воду ручья и, на фоне прыгающей воды, профиль юноши, нежный, чистый, с неожиданно припухлой нижней губой, капризно выпятившейся, как у молоденькой женщины.

Здесь же у ручья сделали первый привал. Для безопасности сошли с тропы вниз по течению. Сидели в кустах. Рубахин держал на коленях автомат со снятым предохранителем. Есть пока не хотелось, но пили воду несколько раз. Вовка, лежа на боку, крутил приемничек, тот еле слышно свиристел, булькал, мяукал, взрывался незнакомой речью. Вовка, как и всегда, полагался на опыт Рубахина, за километр слышавшего камень под чужой ногой.

– Рубаха, я сплю. Слышь. Я сплю, – честно предупреждал он, проваливаясь в мгновенной солдатской дреме.

Когда зоркий старлей изгнал его из числа тех, кто пошел на разоружение, Вовка от нечего делать вернулся в домишко, где жила молодая женщина. (Домишко рядом с домом подполковника. Но Вовка был осторожен.) Она, понятно, обругала, попеняла солдату, так скоро бросившему ее у магазина. Но через минуту они снова оказались лицом к лицу, а еще через минуту в постели. Так что теперь Вовка был приятно изнурен. Дорогу он осиливал, но на привалах его тотчас кидало в сон.

Рубахину было проще заговорить на быстром ходу.

– ...если по-настоящему, какие мы враги – мы свои люди. Ведь были же друзья! Разве нет? – горячился и даже как бы настаивал Рубахин, пряча в привычные (в советские) слова смущавшее его чувство. А ноги знай шагали.

Вовка-стрелок фыркнул:

– Да здравствует нерушимая дружба народов...

Рубахин расслышал, конечно, насмешку. Но сказал сдержанно:

– Вов. Я ведь не с тобой говорю.

Вовка на всякий случай смолк. Но и юноша молчал.

– Я такой же человек, как ты. А ты такой же, как я. Зачем нам воевать? – продолжал говорить всем известные слова Рубахин, но мимо цели: получалось, что стершиеся слова говорил он самому себе да кустам вокруг. Да еще тропинке, что после ручья рванулась напрямик в горы. Рубахину хотелось, чтобы юноша хоть как-то ему возразил. Хотелось услышать голос. Пусть что-то скажет. (Рубахин все больше чувствовал себя беспокойным.)

Вовка-стрелок (на ходу) шевельнул пальцем, и приемничек в его солдатском мешке ожил, зачирикал. Вовка еще шевельнул – нашел маршевую песню. А Рубахин все говорил. Наконец устал и смолк.

Идти со связанными руками (и с плохой ногой) непросто, если подъем крут. Пленный боевик оступался; шел с трудом. На одном из подъемов вдруг упал. Кое-как встал, не жаловался; но Рубахин заметил его слезы. Рубахин несколько скоропалительно сказал:

– Если не убежишь, я развяжу тебе руки. Дай слово.

Вовка-стрелок услышал (сквозь музыку приемника) и вскрикнул:

– Рубаха! Да ты спятил!..

Вовка шел впереди. Он ругнулся: мол, глупость какая. А приемник меж тем звучал громко.

– Вов. Выруби... Мне слышать надо.

– Счас.

Музыка смолкла.

Рубахин развязал пленному руки – куда он уйдет с такой ногой от него, от Рубахина.

Шли довольно быстро. Впереди пленный. Рядом полусонный Вовка. А чуть сзади молчаливый, весь на инстинктах Рубахин.

Освободить кому-то хотя бы только кисти рук и хотя бы только на время пути – приятно. Со сладким привкусом сглотнулась слюна в гортани Рубахина. Редкая минута. Но привкус привкусом, а взгляд его не слабел. Тропа набрала крутизну. Стороной они прошли холмик, где был закопан пьянчуга Боярков. Замечательное залитое вечерним солнцем место.

На ночном привале Рубахин отдал ему свои шерстяные носки. Всем спать! (И совсем малый костер!...) Рубахин отобрал у Вовки транзистор (ночью ни звука). Автомат, как всегда, на коленях. Он сидел плечом к пленному, а спиной к дереву в своей излюбленной с давних времен позе охотника (чуткой, но позволяющей немного впасть в дрему). Ночь. Он как бы спал. И в параллель сну слышал сидящего рядом пленника – слышал и чувствовал настолько, что среагировал бы в тот же миг, вздумай тот шевельнуться хоть чуточку нестандартно. Но тот и не думал о побеге. Он тосковал. (Рубахин вникал в чужую душу.) Вот оба они впали в дрему (доверяя), а вот Рубахин уже знал, что юношей вновь овладела тоска. Днем пленный старался держаться гордецом, но сейчас его явно донимала душевная боль. Чего, собственно, он печалился? Рубахин еще днем внятно намекнул ему, что ведут его не в воинскую тюрьму и не для каких-то иных темных целей, а именно чтобы отдать его своим – взамен на право проехать. Всего-то и делов – передать своим. Сидя рядом с Рубахиным, он может не волноваться. Пусть он не знает про машины и заблокированную там дорогу, но ведь он знает (чувствует), что ему ничто не грозит. Более того. Он чувствует, конечно, что он симпатичен ему, Рубахину... Рубахин вдруг вновь смутился. Рубахин скосил глаза. Тот тосковал. В уже подступившей тьме лицо пленного было по-прежнему красиво и так печально. «Ну-ну!» – дружелюбно сказал Рубахин, стараясь приободрить.

И медленно протянул руку. Боясь встревожить этот полуоборот лица и удивительную красоту неподвижного взгляда, Рубахин только чуть коснулся пальцами его тонкой скулы и как бы поправил локон, длинную прядку, свисавшую вдоль его щеки. Юноша не отдернул лица. Он молчал. И как показалось – но это могло показаться, – еле уловимо, щекой ответил пальцам Рубахина.

Стоило смежить глаза, Вовка-стрелок наново проживал ускользящие сладкие минуты, так стремительно промчавшиеся в том деревенском домишке. За мигом миг – дробная и такая краткая радость женской близости. Он спал сидя; спал стоя; спал на ходу. Неудивительно, что ночью он крепко уснул (хотя был его час) и не уследил, как рядом пробежал зверь, возможно, кабан. Всех всколыхнуло. А треск в кустах затянуто долго сходил на нет. «Хочешь, чтобы нас тоже пристрелили, сонных?» – Рубахин легонько дернул солдата за ухо. Встал. Вслушался. Было тихо.

Подложив в огонь хворосту, Рубахин походил кругами, постоял у распадка; вернулся. Он сел рядом с пленным. Пережив испуг, тот сидел в некотором напряжении. Плечи светло;

ссутулился – красивое лицо совсем утонуло в ночи. «Ну что?.. Как ты?» – спросил простецки. В таких случаях вопрос – это прежде всего пригляд за пленным: не обманчива ли его дрема; не подыскал ли он нож; и не надумал ли, пока спят, уйти в темную ночь? (Сдуру – ведь Рубахин нагонит его тотчас.)

– Хорошо, – ответил тот коротко. Оба какое-то время молчали.

Так оказалось, что, задав вопрос, Рубахин остался сидеть с ним рядом (не каждую же минуту менять место у костра). Рубахин похлопал его по плечу:

– Не робей. Я же сказал: как приведем, сразу тебя отдадим вашим – понял?

Тот кивнул: да, он понял. Рубахин этак хохотнул:

– А ты правда красивый.

Помолчали еще.

– Как нога?

– Хорошо.

– Ладно, спи. Времени в обрез. Надо еще чуток покемарить, а там и утро...

И вот тут, как бы согласившись, что надо подремать, пленный юноша медленно склонил свою голову вправо, на плечо Рубахину. Ничего особенного: так и растягивают свой недолгий сон солдаты, привалившись друг к другу. Но вот тепло тела, а с ним и ток чувственности (тоже отдельными волнами) стали пробиваться, перетекая – волна за волной – через прислоненное плечо юноши в плечо Рубахина. Да нет же. Парень спит. Парень просто спит, подумал Рубахин, гоня наваждение. И тут же напрягся и весь одеревенел, такой силы заряд тепла и неожиданной нежности пробился в эту минуту ему в плечо; в притихшую душу. Рубахин замер. И юноша – услышав или угадав его настороженность – тоже чутко замер. Еще минута – и их касание лишилось чувственности. Они просто сидели рядом.

– Да. Подремлем, – сказал Рубахин в никуда. Сказал, не отрываясь взглядом от красных маленьких языков костра.

Пленный качнулся, чуть удобнее разместив голову на чужом плече. И почти тут же стал вновь ощущать ток податливого и призывного тепла. Рубахин расслышал теперь тихую дрожь юноши, как же так... что ж это такое? – взбаламученно соображал он. И вновь весь он затаился, сдерживаясь (и уже боясь, что ответная дрожь его выдаст). Но дрожь – это только дрожь, можно пережить. Более же всего Рубахин страшился, что вот сейчас голова юноши тихо к нему повернется (все движения его были тихие и ощутимо вкрадчивые, вместе с тем как бы и ничего не значащие – чуть шевельнулся человек в дреме, ну и что?..) – повернется к нему именно что лицом, почти касаясь, после чего он неизбежно услышит юное дыхание и близость губ. Миг нарастал. Рубахин тоже испытал минуту слабости. Его желудок первым из связки органов не выдержал столь непривычного чувственного перегруза – сдавил спазм, и тотчас пресс матерого солдата сделался жестким, как стиральная доска. И следом перехватило дыхание. Рубахин разом зашелся в кашле, а юноша, как спугнутый, отнял голову от его плеча.

Вовка-стрелок проснулся:

– Бухаешь, как пушка, – с ума сошел!.. слышно на полкилометра!

Беспечный Вовка тут же и заснул. И сам же – как в ответ – стал прихрапывать. Да еще с таким звучным присвистом.

Рубахин засмеялся – вот, мол, мой боевой товарищ. Беспрерывно спит. Днем спит, ночью спит!

Пленный сказал медленно и с улыбкой:

– Я думаю, он имел женщину. Вчера.

Рубахин удивился: вот как?.. И, припомнив, тут же согласился:

– Похоже на то.

– Я думаю, вчера днем было.

– Точно! точно!..

Оба посмеялись, как это бывает в таких случаях у мужчин.

Но следом (и очень осторожно) пленный юноша спросил:

– А ты – ты давно имел женщину?

Рубахин пожал плечами:

– Давно. Год, можно считать.

– Некрасивая совсем? Баба?... Я думаю, она некрасивая была. Солдаты никогда не имеют красивых женщин.

Возникла такая долгая тяжелая пауза. Рубахин чувствовал, как камень лег ему на затылок (и давит, давит...).

Рано утром костер совсем погас. Замерзший Вовка тоже перебрался к ним и уткнулся лицом, плечом в спину Рубахину. А сбоку к Рубахину приткнулся пленный, всю ночь манивший солдата сладким пятном тепла. Так втроем, обогревая друг друга, они дотянули до утра.

Поставили котелок с водой на огонь.

– Чайком балуемся, – сказал Рубахин с некоторой виноватостью за необычные переживания ночи.

С самого утра ожила эта в себе неуверенная, но уже непрячущаяся его виноватость: Рубахин вдруг начал за юношей ухаживать. (Он взволновался. Он никак не ожидал этого от себя.) В руках, как болезнь, появилось мелкое нетерпение. Он дважды заварил ему чай в стакане. Он бросил куски сахара, помешал звонкой ложечкой, подал. Он оставил ему как бы навсегда свои носки – носи, не снимай, пойдешь в них дальше!.. – такая вот пробилась заботливость.

И как-то суетлив стал Рубахин и все разжигал, разжигал костер, чтобы тому было теплее.

Пленный выпил чай. Он сидел на корточках и следил за движениями рук Рубахина.

– Теплые носки. Хорошие, – похвалил он, переводя взгляд на свои ноги.

– Мать вязала.

– А-а.

– Не снимай!.. Я же сказал: ты пойдешь в них. А я себе на ноги что-нибудь намотаю.

Юноша, вынув расческу из кармана, занялся своими волосами: долго расчесывал их. Время от времени он горделиво встряхивал головой. И снова выверенными взмахами приглаживал волосы до самых плеч. Чувствовать свою красоту ему было так же естественно, как дышать воздухом.

В теплых и крепких шерстяных носках юноша шел заметно увереннее. Он и вообще держался посмелее. Тоски в глазах не было. Он, несомненно, уже знал, что Рубахин смущен наметившимися их отношениями. Возможно, ему это было приятно. Он искоса поглядывал на Рубахина, на его руки, на автомат и про себя мимолетно улыбался, как бы играючи одержав победу над этим огромным, сильным и таким робким детиной.

У ручья он не снимал носки. Он стоял, ожидая, когда Рубахин его подхватит. Рука юноши не цеплялась, как прежде, только за ворот; без стеснения он держался мягкой рукой прямо за шею ступающего через ручей Рубахина, иногда, по ходу и шагу, перемещая ладонь тому под гимнастерку – так, как было удобнее.

Рубахин вновь отобрал у Вовки-стрелка транзистор. И дал знак молчать: он вел; на расширившейся затоптанной тропе Рубахин не доверял никому (до самой белой скалы). Скала с известной ему развилкой троп была уже на виду. Место опасное. Но как раз и защищенное тем, что там расходились (или сходились – это как смотреть!) две узкие тропки.

Скала (в солдатской простоте) называлась *нос*. Белый большой треугольный выступ камня надвигался на них, как нос корабля, – и все нависал.

Они уже карабкались у подножия, под самой скалой, в курчавом кустарнике. *Этого не может быть!* – пронеслось в сознании солдата, когда там, наверху, он расслышал надвигающуюся опасность (и справа, и слева). С обеих сторон скалы спускались люди. Чужая и такая

плотная, беспорядочно-частая поступь. Суки. Чтобы два чужих отряда вот так совпали минута к минуте, заняв обе тропы, – такого *не может быть!* Скала была тем и спасительна, что давала услышать и загодя разминуться.

Теперь они, конечно, не успевали продвинуться ни туда, ни сюда. Ни даже метнуться из-под скалы назад в лес через открытое место. Их трое, один пленный; их тотчас заметят; их перестреляют немедленно; или попросту загонят в чашу, обложив кругом. *Этого не может быть*, – жалобно пискнула его мысль уже в третий раз, как отрекаясь. (И ушла, исчезла, бросила его.) Теперь все на инстинктах. В ноздрах потянуло холодком. Не только их шаги... Почти в полном безветрии Рубахин слышал медлительное распрямление травы, по которой прошли.

– Тсс.

Он прижал палец к губам. Вовка понял. И мотнул головой в сторону пленного: как он?

Рубахин глянул тому в лицо: юноша тоже мгновенно понял (понял, что идут свои), лоб и щеки его медленно наливались краской – признак непредсказуемого поведения.

«А! Будь что будет!» – сказал себе Рубахин, быстро изготавив автомат к бою. Он ошупывал запасные обоймы. Но мысль о бое (как и всякая мысль в миг опасности) тоже отступила в сторону (бросила его), не желая взвалить на себя ответ. Инстинкт велел прислушаться. И ждать. В ноздрах тянуло и тянуло холодом. И так значаще тихо зашевелились травы. Шаги ближе. Нет. Их много. Их слишком много... Рубахин еще раз глянул, считывая с лица пленного и угадывая – как он? что он? в страхе быть убитым затаится ли он и смолчит (хорошо бы) или сразу же кинется им навстречу с радостью, с дурью в полубезумных огромных глазах и (главное!) с криком?

Не отрывая взгляда от идущих по левой тропе (этот отряд был совсем недалеко и пройдет мимо них первым), Рубахин завел руку назад и осторожно коснулся тела пленного. Тот чуть дрожал, как дрожит женщина перед близким объятием. Рубахин тронул шею, ошупью перешел на его лицо и, мягко коснувшись, положил пальцы и ладонь на красивые губы, на рот (который должен был молчать); губы подрагивали.

Медленно Рубахин притягивал юношу к себе ближе (а глаз не отрывал от левой тропы, от подтягивающейся цепочки отряда). Вовка следил за отрядом справа: там тоже уже слышались шаги, сыпались вниз камешки, и кто-то из боевиков, держа автомат на плече, все лязгал им об автомат идущего сзади.

Юноша не сопротивлялся Рубахину. Обнимая за плечо, Рубахин развернул его к себе – юноша (он был пониже) уже сам потянулся к нему, прижался, ткнувшись губами ниже его небритого подбородка, в сонную артерию. Юноша дрожал, не понимая. «Н-н...» – слабо выдохнул он, совсем как женщина, сказав свое «нет» не как отказ – как робость, в то время как Рубахин следил его и ждал (сторожа вскрик). И как же расширились его глаза, пытавшиеся в испуге обойти глаза Рубахина и – через воздух и небо – увидеть своих! Он открыл рот, но ведь не кричал. Он, может быть, только и хотел глубже вдохнуть. Но вторая рука Рубахина, опустившая автомат на землю, зажала ему и приоткрытый рот с красивыми губами, и нос, чуть трепетавший. «Н-ны...» – хотел что-то досказать пленный юноша, но не успел. Тело его рванулось, ноги напряглись, однако под ногами уже не было опоры. Рубахин оторвал его от земли. Держал в объятиях, не давая коснуться ногами ни чутких кустов, ни камней, что покатались бы с шумом. Той рукой, что обнимала, Рубахин, блокируя, обошел горло. Сдавил; красота не успела спасти. Несколько конвульсий... и только.

Ниже скалы, где сходились тропы, раздались вскоре же дружеские гортанные возгласы. Отряды обнаружили друг друга. Слышались приветствия, вопросы – как? что?! куда это вы направляетесь?!. (Самый вероятный из вопросов.) Хлопали друг друга по плечу. Смеялись. Один из боевиков, воспользовавшись остановкой, надумал помочиться. Он подбежал к скале, где было удобнее. Он не знал, что он уже на мушке. Он стоял всего в нескольких шагах от

кустов, за которыми лежали двое живых (прячась, они залегли) и мертвый. Он помочился, икнул и, поддержнув брюки, заторопился.

Когда отряды прошли мимо, а их удаляющиеся в низину шаги и голоса совсем стихли, двое солдат с автоматами вынесли из кустов мертвое тело. Они понесли его в редкий лес, недалеко и тропой налево, где, как помнил Рубахин, открывалась площадка – сухая плешина с песчаной, мягкой землей. Рыли яму, вычерпывая песок плоскими камнями. Вовка-стрелок спросил, возьмет ли Рубахин назад свои носки, Рубахин покачал головой. И ни словом о человеке, к которому, в общем, уже привыкли. Полминуты посидели молчком у могилы. Какое там посидеть – война!..

## 6

Без перемен: две грузовые машины (Рубахин видит их издали) стоят на том самом месте.

Дорога с ходу втискивается в проход меж скал, но узкое место стерегут боевики. Машины уже обстреляны, но неприцельно. (А продвинулся они еще хоть сколько-то, их просто изрешетят.) Стоят машины уже четвертый день; ждут. Боевики хотят оружие – тогда пропустят.

– ...не везем мы автоматов! нет у нас оружия! – кричат со стороны грузовиков. В ответ со скалы выстрел. Или целый град выстрелов, длинная очередь. И в придачу смех – га-га-га-га!.. – такой радостный, напористый и так по-детски ликующий катится с высоты смех.

Солдаты сопровождения и шоферы (всех вместе шесть человек) расположились у кустов на обочине дороги, укрывшись за корпусами грузовиков. Кочевая их жизнь нехитра: готовят на костре еду или спят.

Когда Рубахин и Вовка-стрелок подходят ближе, на скале, где засада, Рубахин примечает огонь, бледный дневной костер – боевики тоже готовят обед. Вялая война. Почему бы не перекусить по возможности сытно, не выпить горячего чайку?

Подходящих все ближе Рубахина и Вовку со скалы тоже, конечно, видят. Боевики зорки. И, хотя им видно, что двое как ушли, так и пришли (ничего зримого не принесли), со скалы на всякий случай стреляют. Очередь. Еще очередь.

Рубахин и Вовка-стрелок уже подошли к своим.

Старшина выставил живот вперед. Спрашивает Рубахина:

– Ну?.. Будет подмога?

– Хера!

Рубахин не стал объяснять.

– И пленного не удалось подловить?

– Не.

Рубахин спросил воды, он долго пил из ведра, проливая прямо на гимнастерку, на грудь, потом слепо шагнул в сторону и, не выбирая где, свалился в кустах спать. Трава еще не распрямилась; он лежал на том месте, что и два дня назад, когда его толкнули в бок и послали за подмогой (дав Вовку в придачу). В мятую траву он ушел головой по самые уши, не слыша, что там выговаривает старшина. Плевать он хотел. Устал он.

Вовка сел к дереву в тень, раскинув ноги и надвинув панаму на глаза. Насмешничая, он спрашивал шоферов: а что ж сами вы? так и не нашли объезда?.. да неужели ж?! «Объезда нет», – отвечали ему. Шоферы лежали в высокой траве. Один из этих тугодумов умело лепил самокрутку из обрывка газеты.

Старшина Береговой, раздосадованный неудачей похода, попытался снова вступить в переговоры.

– Эй! – закричал он. – Слухай меня!.. Эй! – кричал он доверительным (как он считал) голосом. – Клянусь, ничего такого нет в машинах – ни оружия, ни продуктов. Пустые мы!.. Пусть придет ваш человек и проверит – все покажем, стрелять его не будем. Эй! слышь!..



В ответ раздалась стрельба. И веселый гогот.

– Мать в душу! – ругнулся старшина.

Стреляли со скалы беспорядочно. Стреляли так долго и так бессмысленно, что старшина еще раз выматерил и позвал:

– Вов. Ну-ка поди сюда.

Оба шофера, что лежали в траве, оживились:

– Вов! Вов! Иди сюда. Покажь абрекам, как стрелять надо!

Вовка-стрелок зевнул; лениво оторвал спину от дерева. (Привалившись к нему, он так хорошо сидел.)

Но, взяв оружие, он целил без лени. Он расположился на траве поудобнее и, выставив карабин, ловил в оптическом прицеле то одну, то другую фигурку из тех, что суетились на скале, нависавшей слева над дорогой. Их всех было отлично видно. Он бы, пожалуй, попал и без оптического прицела.

И как раз горец, стоявший на краю скалы, издевательски заулюлюкал.

– Вов. А тебе охота в него попасть? – спросил шофер.

– На хрена он мне, – фыркнул Вовка.

Помолчав, добавил:

– Мне нравится целиться и жать на спуск. Я и без пули знаю, когда я попал.

Невозможность понималась без слов: убей он боевика, грузовикам по дороге уже не проехать.

– Этого, что орет, я, считай, шпокнул. – Вовка спустил курок незаряженного карабина. Он баловался. Прицелился – и вновь лихо щелкнул. – И вот этого, считай, шпокнул!.. А этому я могу полжопы оторвать. Убить – нет, он за деревом, а полжопы – по-жалста!..

Подчас, углядев у кого-то из горцев что-нибудь поблескивающее на солнце – бутылку водки или (было поутру!) замечательный китайский термос, Вовка тщательно прицеливался и вдребезги разносил выстрелом заметный предмет. Но сейчас ничего привлекательного не было.

Рубахину тем временем спалось тревожно. Набегал (или, зарывшись в траву, Рубахин сам вызывал его в себе?) один и тот же дурной, беспокоящий сон: прекрасное лицо пленного юноши.

– Вовк. Дай курнуть! (И что за удовольствие ловить на мушку?)

– Сейчас! – Вовка знай целил и целил, уже в азарте забавы, – он вел перекрестье по силуэту скалы: по кромке камня... по горному кустарнику... по стволу дерева. Ага! Он приметил тощего боевика: стоя у дерева, тот кромсал ножницами свои патлы. Стрижка – дело интимное. Зеркальце сверкнуло, дав знак, – Вовка мигом зарядил и поймал. Он нажал спуск, и серебристая лужица, прикрепленная к стволу вяза, разлетелась в мельчайшие куски. В ответ раздалось проклятия и, как всегда, беспорядочная стрельба. (И словно бы журавли закликали за нависшей над дорогой скалой: *гуляль-киляль-ляль-киляль-снайпер...*) Фигурки на скале забегали – кричали, вопили, улюлюкали. Но затем (видно, по команде) притихли. Какое-то время не высовывались (и вообще вели себя скромнее).

И, конечно, думали, что они укрылись. Вовка-стрелок видел не только их спрятавшиеся головы, кадыки на горле, животы – он видел даже пуговицы их рубашек и, балуясь, переводил перекрестье с одной на другую...

– Вовка! Отставить! – одернул старшина.

– Уже!.. – откликнулся стрелок, прихватывая рукой карабин и направляясь к высокой траве (с той же нехитрой солдатской мыслью: поспать).

А Рубахин терял: лицо юноши уже не удерживалось долго перед его глазами – лицо распалось, едва возникнув. Оно размывалось, утрачивая себя и оставив лишь невнятную и неинтересную красоту. Чье-то лицо. Забытое. Образ таял. Словно бы на прощанье (прощаясь и,

быть может, прощая его) юноша вновь обрел более или менее ясные черты (и как вспыхнуло!). Лицо. Но не только лицо – стоял сам юноша. Казалось, что он сейчас что-то скажет. Он шагнул еще ближе и стремительно обхватил шею Рубахина руками (как это сделал Рубахин у той скалы), но тонкие руки его оказались мягки, как у молодой женщины, – порывисты, но нежны, и Рубахин (он был начеку) успел понять, что сейчас во сне может случиться мужская слабость. Он скрипнул зубами, усилием отгоняя видение, и тут же проснулся, чувствуя ноющую тяжесть в паху.

– Покурить бы! – со сна хрипло проговорил он. И услышал стрельбу...

Возможно, от выстрелов он и проснулся. Тонкая струйка автоматной очереди – цок-цок-цок-цок-цок – выбивала мелкие камешки и фонтанчики пыли на дороге возле застывших грузовиков. Грузовики стояли. (Рубахина это мало волновало. Когда-нибудь да ведь дадут им дорогу.)

Вовка-стрелок с карабином в обнимку спал неподалеку в траве. У Вовки нынче крепкие сигареты (купил в сельском магазинишке вместе с портвейном), – сигареты были на виду, торчали из нагрудного кармана. Рубахин выбрал из них одну. Вовка тихо посапывал.

Рубахин курил, делая медленные затяжки. Он лежал на спине – глядел в небо, а слева и справа (давя на боковое зрение) теснились те самые горы, которые обступили его здесь и не отпускали. Рубахин свое отслужил. Каждый раз, собираясь послать на хер все и всех (и навсегда уехать домой, в степь за Доном), он собирал наскоро свой битый чемодан и... и оставался. «И что здесь такого особенного? Горы?..» – проговорил он вслух, с озленностью не на кого-то, а на себя. Что интересного в стылой солдатской казарме – да и что интересного в самих горах? – думал он с досадой.

Он хотел добавить: мол, уже который год! Но вместо этого сказал: «Уже который век!..» – он словно бы проговорился; слова выпрыгнули из тени, и удивленный солдат додумывал теперь эту тихую, залежавшуюся в глубине сознания мысль. Серые замшелые ущелья. Бедные и грязноватые домишки горцев, слепившиеся, как птичьи гнезда. Но все-таки – горы?! Там и тут теснятся их желтые от солнца вершины. Горы. Горы. Который год бережит ему сердце их величавость, немая торжественность – но что, собственно, красота их хотела ему сказать? зачем окликала?

## Отставший Повесть

### 1

Сон мучит старика – моего отца (мама умерла, отец одинок, и, когда я приезжаю его проведать, он с подробностями рассказывает мне мучающий его сон. Если я не приезжаю, он звонит и рассказывает мне сон по телефону. То жалобно, то гневно).

Помочь ему в его снах я не могу – это ясно. Но ведь могу слушать.

Отец рассказывает, как он выбегает за ворота, натягивая на голову шапку, хотя сам он еще в нижней рубаше (и даже в брюки нижнюю рубашу не заправил), ремень еще не затянут, болтается туда-сюда на бегу. И, конечно, отец, едва только выбежал, уже знает, что улица пуста и что он отстал от своих. «Выбегая, я уже точно про все знал». – «Почувствовал?» Да, да, он наперед почувствовал, знал: грузовая машина (гремящая бортами полуторка тех лет) уже уехала. Он один...

Ему снится, что грузовая уже далеко и что люди там, в машине, в кузове, тоже полуодетые, однако успевшие вскочить, влезть, что-то кричат ему, машут руками, а машина все прибавляет и прибавляет, и по какой-то важной причине, по неумолимости какой-то, приостановиться хотя бы на миг, притормозить и подхватить отца грузовая никак не может, и эта беда, эта неумолимость отставания и составляют, кажется, главное чувство его повторяющегося сна.

Мучительно ли, больно ли ему? Вне сомнения. Но есть ли в придачу к боли хотя бы плавность сновидения, анестезия медлительного парения в воздухе и, стало быть, хоть какое-то, пусть мизерное, достоинство, раз уж ты отстал?.. Возможно, что нет. Совсем ничего нет, только страх. Опять и опять видит он свою картинку – грузовые машины одна за другой срываются с места, мчат, люди кричат, шоферы огрызаются и наддают и еще наддают, припав к рулю, колеса скрежещут; одна, другая, пятая, взревела уже и последняя машина, и вот только тут из избы, сонный, поскользываясь на снегу, выбегает мой отец, выбегает в числе самых последних. «Братцы! – кричит он, обжигая горло морозным воздухом. – Братцы!..» Но машины уже какой взяли разбег; он видит последнюю и потому в незаправленной рубаше, с шапкой, сбившейся на ухо, бежит ей вслед. Он, конечно, не догонит. Он просто уже не может, не в состоянии догнать. По крайней мере, он уже понимает, что отстал; сонный, полураздетый, он понимает это все больше и больше. Но бежит, все подтыкивая рукой свою нижнюю белую рубашу, по сути, в белье, подтыкивает и бежит – не надеясь и все же надеясь. Но вот он отстал. Серое, бессолнечное морозное утро. Машина далеко. Он один посреди дороги.

Жаловался, что сон мучителен именно однообразием, а ведь ни в коей мере не заслужил он такого сна в качестве наказания. «Я много и честно работал, честно воевал! не заслужил!» – кричит отец, задыхаясь уже и среди дня. Он жаловался, вновь хотел врачей. Ведь не просто скверное сновидение, ведь среди ночи он мучается, мучается всерьез, вдруг вскакивая с постели и ловя ртом воздух. Про сердцебиение и не говорю – какая боль, какой сжимающий страх! как оно, бедное, стучит в ребра!

(В Подмоскovie отсутствие телефона – обычность. Чтобы мне позвонить, отец выходит из дома и идет шагов двести до почтового отделения, где стоит покосившаяся будка – телефон-автомат.

Он звонил в два часа ночи. Я еле его успокоил.)

Я бреюсь, посматривая в зеркало на свою полуседую щетину: когда я небрит, щетина меня старит. Звонит телефон, я знаю, что это отец, и не спешу, так как он звонит теперь каждый

день. Трель звонка становится уже нервной, я откладываю бритву в сторону, отхожу от зеркала – но звонит не мой постаревший отец, звонит моя дочь: «Папа!.. Папа, да что ты не берешь трубку? Ты что – не слышишь, я вся изнервничалась!..» – оказывается, я нужен. Оказывается, ее школьный приятель, парнишка Витя, попал в бытовую неприятность (что-то там с получением паспорта), дело обострилось взаимно-грубым разговором в отделении милиции, так что необходимо теперь его, молодого и горячего Витю, как-то выручать – паспорт – это паспорт.

– Папа, я жду – я вся на нерве! – В ее голосе слезы.

Я вновь бреюсь; при том что выпускаю в себя появившуюся небольшую, а все же заботу. Звонок отца (из поколения до меня) и звонок дочери (из поколения после), накатываясь, встречными волнами они гасят друг друга. Но на какую-то секунду обе трели звучат в моих ушах одновременно, совпав и замкнувшись на моем «я», словно бы даты превыше заключенной меж ними жизни и потому затмевают, и словно бы «я» и есть простенькое замыкание двух взаимовстречных сигналов прошлого и будущего.

Представил себе, как он (встав с постели) идет звонить мне среди ночи, и раздражение мое сразу схлынуло. Телефон-автомат в двухстах шагах от дома – недалеко; но ведь надо одеться, надо соразмериться с погодой, надо решать, выпить ли чаю и после идти звонить или идти сразу, впопыхах, пока сон горяч и бьет, колотит в сердце, а сердце ухает, скачет, никак не попадает в норму, – после чаю, кто знает, идти расхочется и двести шагов уже покажутся долгими. Да, да, если идти сразу, то не надо преодолевать смущение и неловкость ночного звонка – впопыхах все можно.

Он берет спички, надо их не забыть. Номер он помнит, но ведь надо видеть, крутить диск, когда в телефонной будке темно. Немножко со спичками, немножко на ощупь, так он и набирает мой номер.

Старый уже, согнутый, вот он стоит в телефонной будке пригорода (в будке нечисто и запахи) – вот вспыхнула там и быстро прогорела спичка. Вокруг ночь. Человек стоит и, бросив пятнадцать копеек, тихо, внимательно крутит диск. Этот старый человек – мой отец.

Кто был Леша-маленький?.. Это был мальчик, сначала мальчик, а затем подросток и юноша, который таскался за артелью золотоискателей и жил их милостью.

Время – давнее. Артельщики ходили помногу – горы, долины, опять горы. У Леши скорые ноги и сердце крепкое, но он все отставал и отставал, он был вял и мал годами, и в глазах его временами становилась необычная голубизна, детский голубой туман, про который говорили – тихая дурь. Парнишка как парнишка, но вдруг такое в глазах. Как пелена. Федяич, старший в артели, только отмахивался, когда обнаруживалось, что Леша-маленький опять где-то потерялся. Пропадет, мол, и ладно, не очень пожалеем!..

Оставшийся в одиночестве, Леша-маленький непременно спохватывался где-нибудь в долине. Он тут же бежал за артелью, спешил, кричал:

– Эй!.. Эй-ээй!

И ему отвечали криком, если были недалеко.

Но чаще Леша спохватывался, когда отставал уже намного. Он тогда шел один. И ночевал один. Стемнело – он отыщет глазами, увидит вдалеке костер заночевавшей артели и в направлении того огонька шагает всю ночь. Но чаще он увидит с горы костер Федяича и его сотоварищей уже так далеко, что вдруг захнычет, ведь маленький! и какие ж стали люди – совсем не такие! – всхлипывая, он разведет свой костерок, чтобы не зябнуть, сидит. Немного подремлет у огня, а с первым ранним холодком надо идти.

К полудню, когда артельщики уже всю работу, он только-только появится. Сядет около них, смотрит. Если же, обессиленный, станет работать, валится с ног.

Артельщики – ребята крепкие, мужики, а ему было лет двенадцать-тринадцать. Артельщики не жили на одном месте, они шли и шли, оставляя там и тут на своем пути шалаши, избушки, землянки.

Случалось, что находили сколько-то золота (обычно мало, но находили), и вот, когда уже добирались в земле до пустоты, Егор Федяич взвешивал желтый песочек, завязывал в кисет и после скорого обеда говорил – собирайся, мужики! в путь!.. И кто-нибудь посылался вперед и отыскивал старую дорогу. Они шли туда следом и ждали мужика на телеге или обозе. Сидели у дороги в траве. Федяич курил. И так неспешно уплывали от них облака. И только тут Леша-маленький их отыскивал, нагонял.

– Смотри-ка, не потерялся! – смеялся Федяич.

А помощник Федяича, молодой и спорый мужик Шишов, весь запачканный желтой старательской глиной, вроде бы укорял:

– Что ж ты, Леша, по пути не сговорил для нас подводку-две – вот бы ко времени получилось!

Лера – так ее звали, девушку, которую я любил, когда был студентом.

Как-то артельщики велели Леше постеречь (побыть возле) необыкновенную глыбу малахита. Они хотели захватить камень на обратном пути и, разбив на куски поменьше, отвезти в поселок мастерам: заработать деньги.

Но когда возвратились от ручья, найти глыбу они никак не могли. Они орали Леше, кричали, свистели в два пальца – все без толку. Потратив впустую много времени, пошли наконец растянутой цепочкой, и один из них, самый в цепи крайний, каким-то образом набрел, наткнулся. Леша спал. В глыбе была большая изогнутая трещина, на дно трещины Леша малопомалу сполз (видимо, от жары) и уснул. На крики и злую ругань он, конечно, ничего в оправдание сказать не мог. А артельщики уже вовсю наработались, устали, хотели есть.

Федяич так рассвирепел, что не велел его кормить: он и прежде не терпел тех, кто спит днем. К тому же он охрип, кликая Лешу (боясь потерять такую большую глыбку, да еще с одной-единой выигрышной трещиной, которая облегчала камню осмотр и вид изнутри, облегчала подход к рисунку: к естественной игре зеленых прожилок). Охрипший и злой, он не велел Лешу-маленького кормить, а после обеда прогнал совсем. Но Федяича упростили. Какой-то убогий попался им в тот день на пути: заросший, с седыми космами, с огромным нательным крестом, убогий человек посидел с ними на привале, от каши и кипятка отказался, съел сухой кусок хлеба и ушел. Но сначала просил за Лешу.

Федяич прогонял Лешу-маленького несколько раз.

Есть своеобразный соблазн: совмещать времена. Я, видно, искал в ту минуту утешающие слова. И не находил. И вот сказал по телефону моему постаревшему отцу, мучимому снами отставания: «А ты не помнишь старую уральскую историю о Леше-маленьком? о золотоискателе? не помнишь?»

Вероятно, вопрос потребовал от отца слишком больших усилий памяти, отец не восхитился и не воскликнул, но наш привычный разговор все же сбился, а отец весь напрягся – какая тут связь меж отстававшим подростком (да, да, была какая-то история!) и его снами, в которых он так мучительно отстает от грузовой машины?.. Но никакой связи не было. Время лишь на миг сместилось, но ведь не совпало. И отец, справедливо недоумевая, спросил: «А что, собственно, мне там помнить?» – он даже переспросил меня, словно бы уточняя.

Но я тоже не знал – что там помнить, мало ли кто и когда отставал. Я неловко засмеялся в трубку.

– Да я просто так сказал, почему-то вспомнил.

Но отец уже заволновался – что за история? Какая тут связь?

– Да никакой связи нет. Никакой – просто вспомнил! Когда-то я хотел написать про это повесть. Когда студентом был.

– Повесть?..

Он наконец поверил, что мои слова и правда случайность, залетевшее в наш разговор случайное воспоминание, и посетовал: мол, стали мы часто отвлекаться от разговора в сторону,

а зачем?.. Но странным образом это минутное переключение в прошлое его вдруг успокоило. Отец вздохнул и тихо сказал:

– Спать пойду. Спать хочется.

## 2

Шишов был спор, молод, толков, умел понять и умел скоро распорядиться – такого помощника, конечно, переманивали и завидовали Федяичу, подстерегали. Как-то раз здоровенные волгари несколько дней упорно шли по следу артели (их было четверо; говорили, что их наняли завистники за хорошие деньги) – в отсутствие болевшего в ту пору Федяича они напали на артельщиков, стреляли. Полусонные артельщики попрятались в кустах, а волгари таскали за волосы тех, кто не убежал далеко: Лешку-маленького и одного нового подручного. В довершение они перебили обоим руки, угрожая тем самым помощнику Шишову и как бы намекая, чтобы не работал он так споро и хорошо. Мол, и тебе перебьем. В маленькое дельце они так много вместили своего волжского опыта. И ушли, посвистев разбежавшимся по кустам артельщикам, поулюлюкав, расколов один их промывочный ковш и забрав харчи.

Сойдясь вновь, артельщики бранились, винили друг друга и за спором не сразу сообразили наложить лубки – сделали подручному, который к вечеру стал громко стонать, а Леше-маленькому только на третий день наложил лубки Федяич, больной, у себя дома, когда артель возвратилась в поселок, когда к нему пришли и, рассказывая, сели вокруг ужинать. Руки у Леша срослись кривовато, криво. Таким он и остался.

И тогда Федяич снова прогнал Лешу-маленького, потому что с кривыми руками тот ничего почти работать и помогать не мог.

Какое-то время Леша-маленький слонялся возле поселковой церкви, мел там и выносил мусор, прибирал, молился, потом полгода он таскался с лошадиниками, потом вернулся и опять пристал к артели Федяича, а потом оказалось, что Бог дал ему необыкновенный дар – умение находить золото.

Старательская артель двигалась через горы, от ручья к ручью, и день за днем за ними спешил отставший Леша. Обычно он их нагонял лишь в самом конце пути, у того ручья, где была последняя долгая промывка и был последний привал. Затем артель поворачивала к дому. А на обратной дороге они останавливались (ночевки все равно где-то делать) на тех самых местах, где ночевал отстававший от них Леша, и обычно находили там золото. Где он в одиночестве заночует – золото. Песок. Даже и самородки. Когда заметили, стали этим пользоваться. Раз от разу обратный путь уже и назывался *Лешкиным путем*, и, когда шли обратно, золота и намывали примерно в четыре-пять раз больше, чем брали, когда шли вперед, в поиск. Для верности они насыпали ему в карманы мелкой слюды, чтобы отставший Леша там и тут нечаянно сыпал, следил, когда ворочался во сне у своего небольшого ночного костра. По блесткам возле ручья артельщики отыскивали место с большой надежностью. Обычно и сам Леша помнил неплохо места ночлегов, но иногда, припоминая, он подолгу топтался, ходил вдоль ручья и с сомнением почесывал в голове: «Тут?.. – И опять топтался: – Иль тут?»

Со временем им уже стало нужно, чтобы он отставал. Так что неудивительно, что шли они легко и скоро и что он никак не мог их догнать, зато уж на пути домой усталые артельщики не спеша шли, не спеша останавливались и намывали там сколько-то песку. Было почти наверняка.

Прошел слух, который, конечно, сильно преувеличивал, раздувал его золотоискательские способности. Возникла слава. За Лешей-маленьким тихо, а затем и в открытую стали следить другие артели. Он не догадывался. Он только заметил, что его стали лучше кормить. Дело дошло до ссоры меж артелями, до столкновений. И пока плетущийся за своими по горам и долинам Леша все больше и больше отставал, старатели из разных артелей ссорились из-за



него все больше. И однажды после ссоры одни, не желая другим уступить, как это бывает среди людей, убили его.

Я был студентом одного из технических московских вузов и, как все, приехавшие с Урала, мучился ностальгией – неудивительно, что иногда хотелось, чтобы вокруг стали горы и подступающие к ним степи. Оказавшемуся в большом городе поначалу все как-то хочется себя (и своего героя) жалеть. Меня грело, что Леша был маленький, и что он бегал по горам, и что он не знал о своем даре.

Особенно нравилась в тех старых рассказах размытость финала. Там как бы совсем ничего не говорилось, что стало с убийцами Леша, но дети убийц были прокляты: превратились в камни. Сказочность не была ни вдруг уясненной, ни услужливо пришептанной. Уральские старухи могли бы и сейчас показать камни на склонах гор. Торчащие уродливые, гнутые каменюки, *а вот идем, я тебя им отдам, а вот сейчас тебя им насовсем отдам, уу-ууу, какие... А вот не станешь слушать бабушку?!*

В общежитии я делил комнату с тремя студентами-математиками и, уходя после занятий в публичную библиотеку, оправдывался перед ними, что там мне работается лучше, чем в нашей библиотеке, в студенческой. Мол, там не отвлекают знакомые лица. Лера (она была москвичка) не жила в общежитии и тоже нет-нет приходила в публичную библиотеку – она появлялась в зале, и, едва ее заведя, я припрятывал свою тетрадку с повестью в ворохи книг и конспектов с лекциями.

Часто мы тут же шли гулять, и я (плавность перехода!) рассказывал ей о тех или иных своих родичах на Урале, о красивых зеленых камнях (валяются прямо под ногами), о горах, о запахах подступающей степи; Лере нравилось, и она вздыхала:

– Завидую тебе – как интересно!

Но чаще, в духе того времени, я, как и многие студенты, говорил о последствиях культа Сталина, о том, как много, оказывается, было злоупотреблений властью, что вот Тухачевский, вот Якир и вот прочие, прочие, и как хорошо, что все наконец раскрылось и справедливость восторжествовала. Я был горяч, порывист и особенно пылко говорил о пострадавших простых людях:

– Ты только представь, Лера, степень их горечи!

А Лера молчала.

Я отметил, когда ее молчание уже было, длилось, но не заметил, когда началось. Насколько сочувственно слушала Лера мои рассказы об уральцах, настолько тут она была почему-то насторожена: словно бы еще не вполне доросла до смелости этих разговоров. Но, может быть, дорастать не хотела? Мы шли вокруг корпусов нашего института, где ели, выгнув свои симметричные ветви, вдруг с шорохом осыпали с них снег. Свежий снег хрустел и под ногами. А чуть далее стояла наша аллея заснеженных молодых топольков.

– Ты только подумай, Лера, сколько лет воевать за революцию, отдать ей молодость, лучшие годы, отдать мысли и душу – и понести наказание ни за что! вот боль, вот страдание!

Лера молчала. Она не возражала, нет-нет. Но и не поддерживала.

Я провожал ее до метро, провожал иногда до самого их дома, а затем возвращался в общежитие. В комнате студенты вели поздние разговоры, но бывало, все трое уже спали. Из спортивного чемоданчика (тогда они были в моде, взамен портфелей) я выгружал в стол свои тетради, конспекты. А тетрадку с повестью, чтобы не попала случайно на глаза, тихо прятавал на свою полку в шкафу, в тот угол, где стопкой были сложены три мои майки.

*Безымянка-гора* – это, скорее, небольшое плоскогорье, долго и плоско подымающееся взгорье, которое я помнил с детства. Гора-змея, и Заяц-гора, и просто гора Камень, и еще была известная гора Глинка, бок ее бело-желт, и, после того как просыхал ливень, там без конца скребли и стесывали размягченную глину. Но из всех них только одна, тянущаяся и так долго подымающаяся гора, что и на гору не походила, осталась безымянной. И все же она была горой.

И, если кто шел по ней наверх, уже через полчаса пути очень хорошо чувствовал и слышал ногами, спиной, что это не взгорье и не склон – гора.

И однажды отставший Леша-маленький вдруг обрадовался, увидев на горе поднимающуюся группку людей, артель. И заспешил.

Но людей там не было. Обман этой горы известен – гора была не просто полога, но еще и волниста, в такой степени ровно волниста, что сразу и легко она напоминала наклоненную бесконечную стиральную доску. Меж гребней этой волнистости росли кой-какие кусты, шевелящиеся острые их верхушки и создавали эффект идущих людей. Казалось, люди идут и идут, подымаясь по Безымянке. От покачиваний при шаге верхушки далеких кустов также чуть выглядывали и, выглянув, немедленно смещались вперед, двигались. Человек останавливался, не веря глазам. И картина сразу замирала: никого. Но тогда срабатывало марево. Волнистость горы, вероятно, гнала неровно прогретый ток воздуха – теплый воздух изгибался, гнулся на живых верхушках кустов, и вновь казалось, что там люди, артель.

Леша спешил, но и артель уходила, они шли один за другим. Он стал. Артель тоже стояла. Он кричал им: «Э-ээй! Э-ээй!..» – и никто из них головы не повернул. Стояли. Но едва он шагнул, артель тут же двинулась вперед.

Я так тщательно описывал состояние, в котором Леша-маленький спешит за почудившейся ему артелью, а групповой мираж то замирает, то движется вновь, я так сопереживал, что это чувство человека, который отстал и догоняет, вошло в меня неприметно и вошло, по-видимому, глубоко и значаще. (И гораздо прежде, чем я его в себе осознал. Чувство пришло загодя. Такое бывает.)

Он не понимал, что он стал нужен. Он не видел себя ни из своего прошлого, ни из нынешнего, а замечательным даром своим он, конечно, не мог и не умел (по детскости своей, по малости ума) ни разбогатеть, ни определить жизнь. Но кормили его теперь лучше и неплохо одевали, дали сапоги; Егор Федяич охотно брал его в артель, и, как только сходил снег и погода позволяла, они шли через горы и в обход по долинам, шли с ним бок о бок и даже помогали ему идти, если крутизна или брод реки. Но ранним утром, сомлевшего в тепле (он очень в пути выматывался, уставал), они бросали его и уходили вперед. Он, бедный, ужасался, просыпаясь, ведь он им теперь свой, ведь они вроде бы ладят, говорят с ним теперь куда ласковее – да как же они снова его бросают? за что?! Уже было успокоившийся и уже поверивший, как все слабые духом, что отныне его любят и будут любить всегда, он вдруг просыпался, оглядывался поверх остывшего костра, и сердце ухало: опять бросили, опять один!

Он не знал, что они должны были его бросить, считалось, что его редкий (и пока еще несильный) дар пробуждается именно в одиночестве, в засыпающем, зябком теле. И, вскочив с земли, испуганный, клянувший свою переменчивую судьбу, Леша вновь спешил за ними. Но и за весь следующий день догнать их не удавалось; тогда он где-то ночевал, разводил костер, не увязывая никак свой ночлег с тем, что на обратном пути именно здесь они остановятся и почти всегда найдут сколько-то золота. Золото тянуло его к себе, но он мог и не осознавать этого. Оно само его тянуло. А некоторые говорили, что он слышит золото своими кривыми руками. Шрамами своих криво сросшихся рук.

Хотя ночлег по его неумелому костровищу найти и отличить нетрудно, все же они говорили ему: когда ночуешь, Леша, замечай или, может, зарубку на кусте сделай, а то воткни ветку, колышек у ручья, чтобы виднее. «А зачем?» – спрашивал он, подымая свои глаза, полные голубого тумана. «Ты не спрашивай, Леша, ты делай!» Так и было: и они намывали себе золота с первым же легким песком. Изредка он слышал и самородки. В старухиных рассказах иной раз оспаривалось, во всяком случае, ставилось под сомнение, что он слышит разбитыми руками. И, скажем, известный уральский самородок *Олень* (353 грамма; в виде оленя, как бы замершего в высоком прыжке и повернувшего голову влево) найден был Лешей-маленьким еще до

нападения тех волгарей, в возрасте одиннадцати лет, когда он выковырнул желтыя палкой на каком-то привале, вдруг заигравшись и уйдя от старателей по ручью ниже.

В других рассказах оспаривалось и то, что Лешу убили. Его подстерегли, но не убили, а только *вновь отбили* ему руки (уже ранее кривые?), чтобы были там новые шрамы и чтобы наново сросшимися руками он больше уже золота не слышал. Но он слышал. (Ему становились все понятнее поступки взрослых и все менее понятен он сам. Он слышал, вот и всё.) Кстати, и завершались рассказы более естественно – финалом, в котором отстававший Леша однажды отстал совсем. Он заплутал ночью в горах и к артели не пристал. За перевалом, пройдя леса, будто бы вышел он к хутору староверов. Жил там год. Затем он вроде бы летом объявился с лесосплавщиками возле Листюган. А далее след его теряется.

Отбившийся, он мог попасть к людям, которые не знали ни о его чутких руках, ни о золотой охоте, и понятно, что там слухи о нем сами собой кончились.

После его смерти (или после исчезновения?) стали мало-помалу разыскивать и заново проверять места, где когда-то он ночевал, а также те места, где еще совсем мальчонкой таскался за артелью Федяича. В золотоискательстве к тому времени появились новые приспособления, пришла техника грохотов, пришли и новые люди с размахом – эти без смущения перемывали мытый песок и рылись в копаном, дабы копнуть глубже. Были дотошны: расспрашивали бывалых артельщиков, ух, молчуны, сколько верст мог отмахать Леша за день и сколько за ночь и не помнят ли они, с какой стороны костра любил спать подросток.

Вдруг стало известно, что на том месте, где взяли артельщики большую глыбу малахита (в трещине которой Леша когда-то уснул), в глубокой вмятине, оставшейся на земле после выкорчеванного камня, копнув, нашли самородки. И вот уже артельные «шлихи» (черный железистый песок после промыва) считались метой. Прошел слух, что этот юнец, этот Леша, вовсе не был сонным, и вялым, и ленивым от природы и что отставал он от Федяича и артельщиков вовсе не от слабости и не от лени. Его звало золото, оно беспрерывно его звало, тянуло, манило, путало ему мозги и клонило в сон. В горах он потому и засыпал на ходу, потому и отставал.

Годы шли, а дошлые купцы и старатели по-прежнему приманивали подарками, хорошей выпивкой или деньгами уже совсем состарившихся тех артельщиков: а вспомни-ка, мил-друг, вспомни, дедушка, где и как в молодечестве своем ходили вы с покойным Егором Федяичем, когда был с вами и ночевал ваш младший артельщик Леша?.. Не места ночлегов, а хотя бы тропу указать – и то было много, и то сулило удачу и успех. И какой-нибудь старец лет под девяносто уже плохо видел и уже совсем ничего не соображал, но его водили, а даже и несли на руках или на грубо сколоченных носилках через какое-то труднопроходимое место, если отказывали ему его старые ноги, – более полувека спустя! Шумит ручей, идут через ручей человек десять-пятнадцать, и двое, обливаясь потом, несут полуслеплого старца. Как вождь племени, старец поднимает руку и слабо иной раз шевелит пальцем: туда, мол, пойдем или вроде туда – сейчас припомню!..

Все стоят на месте и ждут. Шумит ручей. А старик лежит на жестко сбитых носилках и стонет. Забыл, кто он и зачем он здесь. Он думает о новой шапке-ушанке. Он не понимает, почему его все время куда-то несут, тащат, и просится домой: говорит «отпустите меня» – и плачет.

Я рассказывал Лере, что на Урале – в Рудянске, в Каймыке, на Еж-горе – живут такие замечательные люди, крепкие, грубоватые, сильные духом. Я переносил дела легенд в настоящее время и населял округу то лихими, отчаянными шоферами, то (еще лучше!) взрывниками, которые без раздумий жертвовали жизнью ради друга, гибли, горели, задыхались в забоях, и Лера, девушка того романтического времени, тихим своим голосом восклицала:

– Как это хорошо, как чудесно!

Мы приходили иногда к ним домой, и Лера говорила: мама, мама, послушай, как он рассказывает; и Анна Романовна, обернувшись ко мне, строго смотрела, и я опять про Урал и

опять с чувством. И словно бы синие контуры гор, словно бы рядом. Но оттого что меня слушает мама Леры, я волновался и, рассказывая, слова ставил как-то странно, не в порядок или же, излишне и совсем не по поводу вспыхивая, впадал вдруг в чувствительность.

Анна Романовна уже тогда была седа, лет пятидесяти пяти. Она была немногословна. Иногда мы вместе ужинали; уют малой семьи, Анна Романовна накроет стол, около получаса сидит с нами – затем незаметно уходит.

Но в тот раз она еще не ушла, а я все говорил, какие замечательные люди (характеры!) у нас на Урале, какие они сильные, как они ищут золото и руды, – а какие там сосны, камни, изгибы рек!.. Цикорий с молоком, который так вкусно готовила Анна Романовна, остыл. И нетронутый сыр лежал передо мной – я говорил. И помимо вольно уже сносило в незнаемое и немереное русло. Да, мол, там – люди, там – настоящие трудовые руки, а мы...

– А мы – всего лишь студентики, говоруны. Что можем мы? – И тут я чуть поднял свои руки, которые показались мне при вечернем освещении тонкими и слабыми, если не жалкими. – Что можем мы?!

Ностальгический ком подкатил вдруг к самому горлу, и я заплакал. Заплакал явно, со слезами, что было весьма неожиданно (для меня самого тоже). Я, конечно, не всхлипнул более двух раз, но для впечатления и двух вполне хватило. Возникла пауза. В наступившей тишине я сидел за столом и смотрел в свою чашку с остывающим молочным цикорием. Анна Романовна сказала:

– Станный вы мальчик, Гена...

Она понимала, что мне надо помочь как-то выйти из молчания.

– А сыр вы еще не ели. – Она подала, почти вложила мне в руку кусочек сыра и свежайший белый хлеб.

Я жевал; от благодарности за сочувствие слезы, как водится, с новой силой подкатили к горлу, но теперь я уже сдержал, отпустило. Я вздохнул с облегчением. Наконец поднял лицо. И даже улыбнулся: вот, мол, как бывает!..

Анна Романовна уже с иной по оттенку (но тоже мягкой) интонацией повторила:

– Вы странный, Гена. И вы такой еще смешной мальчик.

Она была сдержанна и была добра.

Однажды Лера поехала к подруге в Подмосковье и поздним вечером должна была вернуться домой, я звонил раз, другой – Анна Романовна отвечала мне, что Леры еще нет. Я звонил и звонил каждый час.

В первом часу ночи, когда от волнения голос у меня уже срывался, Анна Романовна сказала:

– Гена, вы не волнуйтесь. Вероятно, Лера заночевала у тети Вероники.

– Как не волноваться?! Она же такая... она такая... – Я не мог подобрать слова.

А Анна Романовна спокойно и по-матерински уверенно продолжила:

– Лера очень самостоятельна.

Я был поражен: я был уверен, что Лера хрупка, нежна, мягка, робеет в разговоре – я такой ее знал и видел, – но при всем том она, оказывается, *самостоятельна*. На следующее утро в институте, пробравшись через весь ряд студентов, как это обычно и бывало, я сел возле Леры. Лекция уже началась. Но студенты еще шумели, рассаживались. Лера коснулась меня плечом, шепнула – здравствуй, но мне ее шепота и прикосновения было мало, я строго спросил: что ж, мол, не позвонила и не успокоила, что заночуешь у тетки? Лера ответила:

– Не могла решиться: ехать домой или не ехать. Я позвонила маме, когда уже ушла последняя электричка.

– Да ты, оказывается, самостоятельна! – с иронией сказал я, после чего словцо у нас стало одним из любимых.

Словцо привилось и у сотоварищей-студентов, с которыми я вместе жил.

Если кто-то из нас вполне невинно говорил, что идет подышать воздухом или, к примеру, пообедать: «А ты, оказывается, самостоятелен!» – успевал сказать ему вслед я, или другой, или третий наш сотоварищ, и все четверо, включая и уходящего подышать, громко и неудержно смеялись, хотя что было в том смешного – не знаю.

В перерывах меж лекциями (и шепотом на лекциях) студенты обсуждали горькую публицистическую статью, вышедшую только что в «Новом мире». Я был как все – я невероятно в тот день разгорячился и даже к вечеру, когда пошел провожать Леру домой, не мог успокоиться. Сродни откровению: мы теперь знали прошлое, но ведь и прошлое теперь знало нас – и словно бы ждало. (Нам воздается не за узнавание чего-то, а за запоздавшее знание нас самих.)

Мы шли каким-то длинным переулком. Темным. Я говорил о репрессированных и о продолжающейся до сей поры – все еще! – реабилитации. Я пересказывал Лере подробности возрожденных послелагерных судеб, передавал ходившие там и тут слухи, затем сердце мое забилося, защемило, и я заговорил о человеческих страданиях: о жестких нарах, о шмонах, о перекличке среди ночи, – я говорил, пылал, я хотел приобщить ее, втянуть в переживание, но Лера оставалась Лерой, молчаливой, какой была всегда.

В тот вечер я внезапно вспылел. И спросил прямо, требуя ответа:

– Почему ты молчишь?.. Одно из двух: или ты считаешь, что я неискренен, или тебя совсем не трогает то, что я говорю?.. Нет, нет, Лера, ты ответь: трогает тебя это или нет?

И она вдруг обняла меня, прижалась. В переулке было темно. Вот так стоя, прижавшись, – я не видел ее лица, но слышал – шепнула:

– Трогает.

И отстранилась.

И мы опять шли рядом. Я был потрясен этим первым нашим объятием, потерял способность говорить.

Чтение статьи в «Новом мире» продолжалось и на другой день, на лекциях. Помню, чуть опоздавший, я сидел в лекционной аудитории на самой верхотуре; вид оттуда был отличный – и уже на моих глазах голубая книжка журнала попала к Шитову, левая сторона аудитории, скоротец Шитов минут за пять, если не за три, пробежал глазами и передал дальше, Козловой, она и Млынарова читали вместе, скосив глаза, плюс сверху, вытягивая длинную шею, читал Гаврилов. Передавали журнал вниз – и снова вверх. Иногда вдруг выхватывали из рук. Но лица внешне непроницаемы. Передали Тодольскому, затем Сергееву...

Второй экземпляр, что на правой стороне аудитории, я заметил не сразу, журнал был обернут в обычную разлинованную бумагу и передавался осторожно. Наконец я засек: это было прямо подо мной, через Раненскую, Кожина и Глуховцева журнал двигался строго по диагонали. Я даже наметил его дальнейшее движение пунктиром: Рогов – Сычев – Оля Ставская. Взаимное их перемещение уже тогда подделывалось под некие две упрощенные судьбы. Левый экземпляр метался, как голубой мотылек, туда-сюда, в то время как правый, неприметный, словно бы замыслил пересечь тихо и без свидетелей все море студенческой аудитории, стремясь шаг за шагом, неуклонно к противоположному берегу. А лектор читал. Затем его сменил другой лектор, всего в тот день было шесть лекционных часов и четыре из них в той же аудитории, что считалось большим удобством.

Некоторые из наиболее старательных наших однокурсников – точнее, однокурсниц – вели дневник; и дневник этот сохранили. Так что сейчас, задним числом я мог бы попытаться более выразительно воспроизвести те дни (с точки зрения студента), если бы не опасался, что хроникальность и сам дух того знакового времени оттеснят перу и мою любовь к ней. Было же как раз наоборот: любовь оттеснила.

Один лишь штрих.

Я видел, как Твардовский, выходя из редакции «Нового мира», садится в машину – мы пришли туда, к редакции, целой оравой студентов и видели: он вышел, сел в машину. И уехал.

Нам, восторженным, ничего больше и не было нужно: только увидеть. Он сказал что-то шоферу – и тот вмиг сорвал машину с места. Мы стояли в пяти шагах. Твардовский и точно сел в машину озабоченно, несколько отрешенно, но, как я узнал уже после, его тяжеловатая посадка и словно бы маховое бросание своего полного тела на подушки сиденья обуславливались его больными ногами.

Он был тогда болен и, вероятно, бледен. Нам же, по молодости, он показался очень белолицым.

Это было у них за ужином. Лера, кажется, молчала. А Анна Романовна на минуту ушла в комнату, а затем вернулась к нам и подала мне фотографию мужчины, не слишком большую, в рамке из легкого белого дерева:

– Это наш Иннокентий Сергеевич – мой муж и Лерин папа. Он уже умер. Он умер *там*. И совсем недавно реабилитирован.

Помню, что я вспыхнул – так нехороши показались мне (рядом с достоинством их молчания) мои бесконечные и навязчивые разговоры о человеческих страданиях. Теперь я неловко вертел фотографию в руках. Растерявшийся, я, кажется, хотел положить ее на стол, на крошки хлеба и сыра, тогда Анна Романовна спокойно и просто вынула ее у меня из рук, унесла. Но сказать я все же успел, хотя и после того, как фотографию из рук забрали, хотя и вслед Анне Романовне, я все же сказал: «Простите меня...»

Муж Анны Романовны, а Лерин папа умер около года назад. После лагеря он бессрочно жил на поселении, жил в небольшом домике некоего железнодорожника (мне показали еще одно фото), там и умер. Лера его не помнила. Анна Романовна рассказывала, что процесс реабилитации непрост, архивы велики (и запущенны) – одно за другим дела тщательно разбирались, и так получилось, что, как раз когда дело Иннокентия Сергеевича разобрали, он умер. Бумага о реабилитации пришла только-только. И хорошее письмо пришло от тех, у кого он жил, – мол, помним, за могилкой следим.

И вот предстоящим летом, как только наладится погода, а Лера сдаст сессию, Анна Романовна поедет в те края, она хочет побыть там, где жил и умер ее муж. Лера будет ее сопровождать.

Анна Романовна рассказывала...

Я был, вероятно, потрясен: в несколько минут за обычным тихим ужином материализовались и обрели вдруг конкретность все эмоциональное многословие, высокие слова и пыльные разговоры – мои и моих братьев-студентов. Набухавшая уже прежде виноватость – тоже моя и не моя, смутная, теперь уяснялась. Час был поздний. Я возвращался в общежитие, щеки мои горели.

Я был взволнован еще по одной причине, в сущности маловажной. Место, где жил и был похоронен отец Леры, называлось Хоня-Десновая, по названию речки. А в рассказах и рассказах древних старух о Леше, чующем золотой песок, упоминалась также среди разных прочих мест и речка Хоня. И пусть речек и речушек Хонь, тем более Десновых (то есть право-ручных – по правую руку), существует немало, все-таки названия совпадали, а места, где Западная Сибирь соприкасается с Зауральем, были так или иначе близки, совместимы.

Леша-маленький и Лера – *все мое* как-то вдруг сблизилось.

У них уже был назначен день отъезда. Я тоже должен был на каникулы ехать к своим отцу-матери, я ехал на Урал, а они в Зауралье. В разные дни, но ведь мы ехали в одном направлении.

Отставший от всех прочих и в то же время ранее всех прочих почуявший и нашедший золото, он (Леша) совмещал эти крайние состояния. Он их путал, никак не осознавая. Он жил удивительной жизнью, не зная, что она удивительная, и завидуя обычным людям, шагающим в артели бок о бок и поедающим в срок свою заработанную кашу и свой хлеб.

Но сначала его сбивали запахи. В то утро (он все помнит!) емушибануло в нос козьей тропой, усеянной темным горошком, глаза Леша еще ничего не различали, глаза не видели

– а запах тропы уже давил, душил. Леша уклонился левее, но там сочился дух обломанных веток шиповника, а еще левее, через подступившую степь, бил в нос запах далекой суслицьей норы и первого там выводка, нежный новорожденный запах, с кислинкой суслицьего молока и обветренностью маминых сосков.

Леша ослеп. Он видел и не видел, весь ушедши в запахи. Наконец, когда зрение стало проясняться, он различил вдали человечьи фигурки – семь поднимающихся в гору артельщиков. И кто-то из них обернулся. И крикнул ему впервые это слово:

– Ну ты, отставший!

И даже не обругал его, замедлявшего общий ход. Только крикнул.

Однажды Лера меня пригласила. Она немного смутилась и сказала:

– Приходи к нам с мамой.

Обычно я провожал ее и так долго стоял с ней возле подъезда их дома, что оба мы замерзали и шли к ним согреться, пить чай. Но тут она вдруг пригласила. Она не сказала «приходи ко мне» или «к нам домой», она именно так сказала, немножко неправильно и очень по-московски, – «к нам с мамой», и, конечно, стало понятно, что сколько я у них ни был, сколько ни пил чай, но вот впервые у них с мамой обо мне всерьез говорено. Готов к разговору я не был. Почти два года наших с Лерой вполне чистых отношений, вероятно, также вмешались в простенькое «к нам с мамой» – я взволновался; и, когда шел к ним, без конца курил. Затем мы сидели за чаем, за вкусным чаем, и не на кухне, а в большой их комнате за круглым столом, покрытым нарядной скатертью, с заранее выставленными там тремя чашками на блюдцах и с вкусным сдобным домашним печеньем в вазе. Над столом – лампа с большим абажуром. Лампа нависала ниже, чем обычно, интимнее, что ли, и мягкость освещения была мне приятна. И вот Анна Романовна спросила за чаем: «Лера сказала, что вы уралец, Гена. Вы ведь уралец?» Я подтвердил, я вновь рассказал, откуда родом, кто мои отец и мать, я ведь часто говорил им про Урал – или она не вслушивалась в мои восторженные рассказы?..

– Вы, Гена, расскажите мне о ваших краях, – попросила Анна Романовна. – Мой муж, отец Леры, был в свое время репрессирован. Он жил и умер как раз на границе Западной Сибири и Зауралья. Я вчера нашла эти места на карте.

После некоторой паузы она сказала:

– Он реабилитирован. Но мы поздно узнали.

Она сказала просто, спокойно. Сказала так, как если бы она сказала о чае и о печенье на нашем столе. И тут я вспыхнул, почувствовав себя юнцом, который уже слишком много наговорил о человеческих страданиях (хорошо хоть не ей, а Лере, Лера простит). И тем же ровным голосом Анна Романовна сказала теперь о чае:

– Остыл?.. Не подлить ли горячего, Гена?

А потом она принесла фотографию мужа.

Дождавшись реабилитации и получив соответствующие документы – «Теперь у меня все права!» – Анна Романовна поехала в Западную Сибирь, в поселок Новостройный, от которого, как ей сказали знающие люди, рукой подать и до Хони-Десновой. Она поехала, чтобы «поправить могилу и просто побыть там». С ней поехала Лера.

К этим отъездным дням Лера ничуть не переменилась: была по-прежнему милая, скромная, даже молчаливая девушка, с которой мы ходили вместе в театр и в кино и которую на обратном пути в темноте переулка я иногда обнимал. Я позволял себе обнять ее в полутьме кинотеатра, такое бывало совсем редко, и от редкости этой у нас обоих захватывало дух. Лера начинала тихо дрожать, дрожь передавалась мне. Мы были вместе, как спеленатые, – и вместе невидяще мы продолжали смотреть на экран.

Лере разрешили досрочно сдать сессию, и они уехали.

Они уехали на две недели, но прошел уже месяц, и пошел уже второй месяц (это был июнь, к этому времени уже и я сдал экзамены), а их все не было.

В дни их отъезда я так им сопереживал, что, едва проводив на вокзал Анну Романовну и Леру, заказал разговор с домом – явившись на переговорный пункт и дождавшись своих пяти минут, с первых же слов я сказал отцу, что маме, мол, пока не говори, маме после, а тебе я скажу сейчас, что я люблю. Я люблю милую и замечательную девушку Леру – Валерию, – я люблю и женюсь на ней, поскольку и она меня любит. Вот только когда защемило, заболело.

В ответ мой отец (ему было тогда тоже около пятидесяти пяти лет, но в отличие от Анны Романовны это был крепкий, сильный мужчина, уверенный в себе и в своей жизни) громко и весело захохотал. Я не понял. Я было решил, что это помехи на телефонной линии, но нет – он хохотал, и смех меня больно задел.

– Ладно, ладно, – сказал он. – Не обижайся. Просто ты еще мальчишка...

Смысл был простой – приезжай, мол, сын, и тогда поговорим, если только ты и твоя Лера сами к тому времени не передумаете.

Сдав сессию, я приехал. Когда я, теперь уже глаза в глаза, и не сторяча, и вполне серьезно сообщил, что женюсь, отец промолчал и ушел покурить. А мама только переспросила, как имя невесты.

Прошли годы, мама умерла; и прошли еще и еще годы. Оставшийся один, отец перебрался в Подмоскowie – живет он от меня недалеко, мы ладим; я езжу к нему время от времени и его подбадриваю. Когда я его подбадриваю и когда твержу, что человек не должен падать духом, он мне говорит: а ты знаешь, сколько мне лет? То-то!

Вчера вновь сказал ему: а помнишь, я был студентом, сопляком был и пытался написать повесть. Старинная уральская легенда была – помнишь? Там был такой мальчишка, золотоискатель, который в точности как ты просыпался среди ночи с сердцебиением и в ужасе, что его бросили и что он отстал... Но отец не помнит. Какая еще повесть? Какой такой мальчишка?

Я напоминаю: я еще хотел тогда жениться, я сказал тебе, а ты хохотал. Ты был горазд хохотать, батя, помнишь?..

– Да ты же давно женат, – говорит мой отец. – У тебя уже дети большие. У тебя давным-давно есть жена.

Он не помнит.

– Какая, к чертям, легенда, чуть что – уже легенда! Байка, что ли?! – сердится он.

– Ну да, да, это я так уважительно сказал, извини. Конечно, байка.

(Врачи посоветовали мне как можно больше говорить с ним про его сны, обговаривать их, лишать тайны.)

### 3

Днем он, в общем, держится. Ночами – вот когда ему плохо.

Что поделать! Мы вновь пошли по врачам: ходили там и ходили здесь, понанесли гору рецептов, следом принесли гору лекарств – успокаивающих, снотворных, жизнетворных. Отец засыпает, но среди ночи, в ту короткую минуту, когда снотворное перестает действовать или ослабевает, сон-отставание его подстерегает, нападает, наваливается, и тут же отец в страхе покрывается потом, делается весь мокр, кричит, зовет. Вновь я предложил пожить у меня, но он вновь отказался: он не хочет кричать ночами среди спящей моей семьи.

Платный профессор, к которому отец ходил тайно, без меня, дал ему совет (тот же, что и мне): как можно больше рассказывать о сновидении близкому человеку и *выговорить* весь свой сон. В сущности, мы и раньше только этим и занимались. Но теперь по телефону мы говорим и полчаса, и час, и, если слушать со стороны, нас можно принять за сумасшедших.

Врач считает, что мы на верном пути.



Отец всегда жил, работал, строил (он строитель) вне снов, он жил той жизнью, что никак и никаким образом не соприкасалась со снами. И, когда жизнь стала кончаться, снам оказалось просто необходимо хоть как-то пометить его. И они пометили.

– Но я не заслужил таких мучений! – возмущается он.

Духовная природа всякого отставания, вероятно, предполагает норму; предполагает, что где-то означена и существует норма, которая не допускает сомнений, что в ней, и только в ней, суть и смысл. И столь неубедительна правота их частных случаев. Но быть в норме, быть как все – это, что ли, так зовет нас и так манит?

Он только и думает, отбиваясь от снов: отставший, отставший, отставший... Ему может не нравиться это ночное свойство, оно может казаться ему случайным или неслучайным, но оно уже с ним, и он уже навсегда с этими снами связан.

И объяви ему, что с нынешней ночи он опять будет как все люди, перестань его мучить и преследовать сны, он обрадуется, он на время поднимет голову, но вскоре заскорбит, притихнет, может быть, даже затоскует. Где мои сны, скажет.

Что же есть правда моей жизни – то, что я всю жизнь строил? или то, что меня со всеми моими стройками в конце концов одолели сны? – спрашивает отец уже горячо, категорично.

Но ведь тут нет вопроса.

Дом в Хоне-Десновой, где жила семья железнодорожника, муж, жена и взрослые дети, был добротный, большой; когда две недели гостеванья истекли, Анна Романовна вновь переговорила с хозяйкой: она, мол, с удовольствием поживет здесь еще, если они не против.

Небольшая комнатка оказалась после смерти мужа Анны Романовны незанятой, опустевшей. В ней стал было жить второй сын железнодорожника, но как раз он уехал на стройку вслед за старшим – они так и уезжали, один за другим; и таким вот образом Анна Романовна поселилась там, где одиноко жил, а затем умер ее муж. В комнатке она постаралась не трогать с места предметы его обихода. Его пепельница. Его нож, чемодан, его книги. Она ходила на его могилу и подолгу, часами, там сидела. Она стала молчалива. Об отъезде уже не думала. И получилось, что она прижилась.

Лера испугалась, что с матерью какая-то тихая беда. Она пробовала поговорить с ней так и этак, говорила с железнодорожником и с его женой, но вот, поохав и повздыхав, все вместе они решили, что пусть Анна Романовна живет как живет. Пенсия будет переводиться сюда, а уволится с работы она письмом. Больше того, железнодорожник в своих частых разъездах будет однажды в Москве и попытается оформить ей, хотя и небольшую, пенсию за мужа – ей было теперь положено, документы в порядке.

Единственное, что беспокоило, – это второй сын железнодорожника, малый с дурным, заметно захватническим характером, он как-то вдруг вернулся и весь вечер бушевал: мол, с какой стати заняли его комнату. Но, побушевав, скоро уехал. Он написал, правда, два грозных письма, но затем где-то на стройке определился, увяз уже окончательно и затих.

Прошел месяц, другой. Лера не жила с матерью в Хоне-Десновой, она жила в поселке Новостройном, что примерно в сорока-пятидесяти километрах. Лера устраивалась там на работу и возвращаться в институт не собиралась. И, как оказалось, не только потому, что хотела быть возле одинокой и разом постаревшей матери.

Когда Лера не ответила на мое письмо, которое я послал в Новостройный «до востребования», я не встревожился. Я спокойно ждал начала занятий в институте, чтобы прибыть в Москву и, как всегда пробравшись через ряды сокурсников, сесть возле Леры в лекционной аудитории, а уж там (шепотом) расспросить ее, как и что. После лекций, проводив Леру, я поднимаюсь к ним домой, и вот Лера и Анна Романовна за чаем с печеньем уже подробно расскажут об Иннокентии Сергеевиче – о том, что они там видели и что узнали о последних годах его жизни... Кажется, я даже предчувствовал, как приятно будет в тот час пить у них чай –

сидеть за круглым столом, под низко висящей, неяркой лампой, протягивая раз за разом руку к печеню, что в расписной небольшой вазе.

Как вдруг я получил от Леры письмо, совсем краткое и показавшееся мне грубоватым. Лера писала, что наконец-то она «живет настоящей жизнью». И что я был совершенно прав, стократ прав, когда говорил ей о том, что мы слюнтяи и что живем жизнью наперед запрограммированных, жалких специалистов, в то время как настоящая жизнь с запахами, звуками, красками проходит от нас вдали.

На том письмо и заканчивалось, как бы обрывалось, но в конце была еще более краткая приписка, которая меня больно ударила: я и влюбилась тут тоже по-настоящему! – приписала Лера, поставив восклицательный знак очень ясно и четко.

В тот же вечер я помчался на наш небольшой вокзал и отправился в Новостройный. По расстоянию да и по карте (поскольку ехать с Урала на Урал) было туда не слишком далеко, но, поскольку ехать в Зауралье приходилось местным поездом, с пересадкой и с дополнительным ожиданием, связанным с четными и нечетными днями, это оказалось вовсе не близко. Я добирался почти вдвое больше, чем до далекой Москвы.

Сердце мое ныло; я старался как-то отвлечься, не думать, через ноющую боль занимал себя (и словно бы уже утешал) мыслью о приобщенности; так или не так, но теперь я тоже, как и Лера, буду там и буду приобщен к тем людям, к той их страдальческой жизни. Старый вагон тяжело клацал, затем он так неохотно скрежетал при разгоне, а разогнавшись – чугунно, пугающе гудел. Так и было: я спешил к Лере, а выбранный мной в герои Леша-маленький спешил догнать ушедшую через горы старательскую артель. Каждый в своем времени, мы оба спешили.

Уже в первый день в Новостройном я мог бы понять, что для Леры выбор в любви был определен и в какой-то мере подготовлен моими же горячечными разговорами. Тот, кого Лера выбрала, был шумный мужчина лет тридцати, недавно отсидевший в лагере, а сейчас работавший на поселении шофером. Уже в том письме Лера словно бы переступила, словно бы через самое себя. Буянистый молодой мужик, грубоватый и с обветренным, медным лицом, он был даже красив. Нам (для наших студенческих лет и воззрений) он казался человеком пожившим, взрослым и, несомненно, пострадавшим. Для всех прочих, живущих в поселке, он был попросту бывший зек Вася.

Мы его, конечно, звали Василием.

Лера лишь чуть смутилась, когда я приехал, – она не таилась, она вся была в новом своем увлечении и восхищенно описывала мне Василия и его жизнь; конечно, Василий не был репрессирован – но все равно он был несколько лет в лагере, страдал – верно?.. Лера уверяла меня, что я пойму ее выбор, как только его увижу. Поклонение ее было самозабвенно, чувство – искренно, а с былым (с нашим былым) было покончено.

– А-а, это друг твой, – сказал Василий; он вылез из кабины и затопал к умывальнику мыть руки после того, как несколько часов крутил баранку.

И добавил (оттуда):

– Дружба – дело святое.

А мы, переминаясь с ноги на ногу, стояли возле его грузовика. И ведь точно! Я уже тоже смотрел на Василия ее глазами. Меня восхищали обветренное лицо, черная от загара шея и в особенности крепкие руки, здоровенные костяшки пальцев, мозоли, хватистая кисть – весь его облик шоферюги, в сапогах и в ватнике, был прекрасен. Чуть-чуть подванивало не то перегаром, не то непрерывным курением махры, но ведь мужчина, мужик, и это только усиливало типаж.

Лера пересказала мне свой первый разговор с Василием после того, как он случайно подвез ее на грузовике. Была ночь. Бывший зек, а уже полгода как поселенец без права дальнего выезда, Василий подвез Леру и высадил вблизи своего барака: тут он жил, тут должен был

отоспаться после рейса. А она, восторженная и говорливая, в те минуты еще и не думала о ночлеге. Ночь. Затемненный барак. Двое стоят возле машины.

Лера:

– И вы спали на нарах?

– Когда отбывал?.. Ну ясно, на нарах. Где же там еще спать.

Лера:

– Боже мой! Как я сочувствую вам!.. Вы настоящий человек, Василий!

Он:

– Я Васька, я простой шоферюга.

Она:

– Не надо. Пожалуйста, не надо со мной так, Василий.

Он нет-нет позевывал, показывая ей, что груб, прост и что немислимо утомлен (рейс и правда был долгим, трудным):

– Катились бы вы отсюда, милая девушка, в свои столицы. Нечего вам тут дурью маяться.

Василий говорил так, как говорит в кино положительный работяга, красивый, не уцерб-ный, с молодой интеллигентной женщиной (с учительницей литературы или с корреспондентом газеты, решившей написать про него статью).

Он (повторяет с силой):

– Катитесь отсюда.

Лера (улыбается. Нежно повторяет его имя):

– Василий...

Он:

– Васька.

Она (еще мягче, нежнее):

– Василий.

Они стоят возле темного барака. Вверху – звезды, ночное небо. Она не хочет уходить. Она не хочет вот так расстаться. Но мотор выключен. Дверца машины захлопнута. Василий постучал сапогом по шинам, осмотрел и – не прощаясь с девицей, без всяких там «до свиданья» – пошел в барак. Плевать он на все хотел. Он и правда еле держался на ногах.

– Василий... Вы... вы куда?

– Спать.

Она так и осталась стоять возле машины одна. Он даже не спросил, где она заночует. А пусть где хочет. Он ушел, глаза его совсем слипались.

Ночевала Лера той ночью в поселковской конторке. Она долго ходила кругами возле сторожа с берданкой, смотрела на него, смотрела – и жалобно наконец попросилась. Она спала там, сидя на стуле.

Лера рассказывала о себе, рассказывала восторженно о Василии, но что-то стояло за ней, за ее спиной, какие-то тени, и, словно бы спохватившись, я спросил:

– А как Анна Романовна?

– Мама?.. Мама в Хоне-Десновой. – И Лера (голос ее упал) рассказала, что Анна Романовна поселилась в Хоне-Десновой сначала временно, а теперь вот прижилась, уезжать не хочет и никак ее не забрать – все ходит и ходит на могилу. Лера ее там навещает. Иногда Лера живет с ней день, и другой, и третий подряд, но, по сути, маме она там не нужна.

В тот же день Лера повезла меня в Хоню-Десновую. Сначала мы пришли в дом железнодорожника Храпова, но Анны Романовны там не было. Тогда Лера сразу и без колебаний, как в хорошо знакомое место, повела меня через мосток и в горы. Шли мы около получаса. Я увидел у начинающегося взгорья четыре огражденные могилы, и возле одной – старушку, сидящую на постеленной газете. Я увидел ее издали. Потом ближе. Старушка сидела там и

что-то шептала. (Анна Романовна очень постарела.) Когда мы приблизились и подошли, она кивнула – она узнала меня, поздоровалась. Но больше ни слова не сказала.

Потом мы с Лерой ушли, а старушка осталась возле могилы.

Они были с ввалившимися глазами, черные от усталости. Они мыли песок без удачи, мыли второй, третий, четвертый день – и все пусто, пусто – и потому, как только увидели приближающегося дурачка, который мычит и улыбается от радости, что отыскал их, они стали его гнать. Злость (как это бывает) нашла себе простой выход. Один – в спину, и другой – в спину, они гнали его ударами, пинками, от которых он увертывался и закрывал ладонями лицо, голову. «Дя-иньки! Дя-иньки! – уже не мычал, кричал он. – За что ж такое, дя-иньки?» Они отогнали его за пригорок. Но он сел там, шагах в полста от них, и, сидя тихо, скулил:

– Дя-иньки, за что ж мне такое? я же ни в чем не виноватый, сирота я.

А они работали, мыли песок. Вечерело.

Был уже закат. А он там все сидел и выл (и сводил их с ума) – я же ни в чем не виноватый, я же ничего такого не сделал, я буду мыть песок, как все, Егор Федяич, ну прости-ии меня господа нашего ради-и... – выл, скулил несчастный мальчишка.

«Пш-шел отсюда!» – один из молодых артельщиков не вынес его причитаний и погнался, схватив палку. Леша видел, что тот приближается, и скулил, скулил, думал, пусть ударит, пусть прибьет, все равно ж один конец, волки сожрут. Но, когда артельщик был шагах в десяти с занесенной на бегу палкой, Леша вскочил, взвизгнул в ужасе и кинулся бежать.

Он бежал, мотая сумкой, что через плечо; сумка мешала, но в ней сколько-то еды, не мог он ее бросить, – это он уже понимал. Преследователь с палкой отстал, но Леша бежал, все еще закрывая голову своими кривыми руками, бежал далеко, не сознавая куда, всхлипывал, плакал, мама моя, мама моя, повторял он, пусть так и будет, пусть ночь, пусть сожрут волки, не хочу я жить больше, мама моя, услышь ты меня с неба, ласковая, скажи мне хоть что-нибудь. Болело плечо, болел копчик, в который пнули сапогом из кирзы. Он знал, что боль пройдет. Он знал и то, что мама не услышит. Он не знал лишь своей вины, не понимал малым умом, что артельщикам он только и нужен, когда он – отставший, когда он разведет где-то костерок, и заночует один, и тем самым поможет найти золото, которого им так не хватает в жизни.

Поздним вечером пастухи садились у только что разведенного костра. Пастухи потирали усталые ноги, раскладывали у огня еду и вдруг оборачивались на шорох в кустах, на отдаленный шум (словно бы на пробегающее там животное – кабан? волк?) – и вглядывались в густую темноту долины. Проследив, они наконец переводили глаза на взгорье за удаляющейся фигурой подростка.

– А-аа. Это тот, который из артели, чующий! Ишь, как опять от своих отбился! – говорили пастухи про него. Смотрели вслед. Сочувствовали. И еще удобнее усаживались у огня.

А он не отбился. Он шел за артельщиками уже три дня, упрямо и твердо шел со своей болтающейся на боку котомкой. Он уже был не мальчонка. Он уже не жил краткой обидой. Ночью он разводил костер, стелил лапник, ужинал – и непременно делал, как уговаривались, зарубку на кусте (или возле ручья вбивал колышек, или складывал три-четыре камня в линию на Полярную звезду) и лишь тогда валился спать. Устал.

Но спал Леша беспокойно, нервно, со вскриками, с отчаянным метаньем головой во сне, – и вдруг, проснувшийся среди ночи, он решал с внезапным страхом, что опять (опять, господи!) он один, опять отставший, да, да, он замерзнет, погибнет от голода. По какому-то особому сплетению своей психики он отбрасывался на несколько лет назад, превращался из подростка, из чующего юнца опять в отстающего мальчишку, который может погибнуть. И, хотя в его котомке, в сумке обычно были хлеб, сало, огурцы, ему казалось среди ночи, что он голоден, очень голоден, он оказывался в детстве, в раннем своем детстве, и потому вскакивал, затапывал костерок, подхватывал котомку и, умирая от голода, задыхаясь от ночного страха и одиночества, бежал, бежал, торопился нагнать – и вот в эту беспокойную ночь (в третью или в

четвертую ночь!), взбежав на гору, он видел наконец их костер. Из последних сил он спускался с горы. Он подбегал к ним ближе – артельщики спали. Ночь как ночь. И только костровой, сидя у огня, чутко дремал.

И, подойдя к спящим, Леша остывал от страха и соображал наконец, что он уже не мальчик, а подросток, юноша и что в котомке у него еда, и чего ж было ночью так бежать и нагонять, задыхаясь. Он сбавлял шаг, вроде как он просто отыскал своих. Подошел не спеша. Заговорил с тем, который дремал сидя:

– Костер я увидел – вот, думаю, наши. Теплая ночь какая!

– Есть будешь?

– Да, поем. Положи мне каши немного...

– Кулеш сегодня.

Он поел кулеша и вот уже совсем успокоился. Поискал место у костра, чтобы лечь. И правда, было нехолодно: теплая ночь. Огонь тлел. Костровой опять ссутулился. Артельщики похрапывали. В привычной повторяемости бытия Леша на миг завис, как в потоке воздуха. Леша соображал – не прилечь ли ему в сторонке, здесь, что ли? – и сердце в ответ все слышнее постукивало: не здесь, не здесь.

По отношению к Леше в артели не было особенного там недовольства или особенной жестокости: они шли, они прежде всего шли в поиск, шли дальше и дальше, и в тяготах пути не очень-то помнили или думали о его удачливости – они сами шли, они сами искали, сами рыли, сами выковыривали золотиносный кварц, дробили, промывали и на труд не жаловались, разве что ближе к закату, к концу дня, чертыхались они, что дорога – одна глина и что начались, мол, болезни и где, мол, тот сонливый, опять его нет, отстал, не сожрали ли его волки – жалко убогого!.. Обычно они вспоминали о его даре только на обратном пути, когда уже у всей артели ломило спину, когда болели сбитые ноги, руки, когда хотелось домой, к семье, и вдруг верилось в чистое, нетронутое золото, что лежит у ручья и ждет. И кто-то говорил – а не попробуем ли помыться там, где Лешка спал? все одно идти обратной дорогой, и ведь говорят, он своими культяшками *слышит*!

Сонный, теплый клубок артельных тел завозился, заворочался, раздавались сердитые голоса и отдельные крики: «Да он слабоумный, он же простой дурень!.. Не понимает?.. А зато где тепло – он понимает?» – недовольные тем, что среди ночи разбудили, все они орали друг на друга и, конечно, на Лешу, давая ему тычки и подзатыльники. Но больше всех в ту ночь шумел сам Егор Федяич – а я-то думаю, кто это к моей бабе лезет? Нырск – и прямо к ней в душу, прямо головой туда лезет и лезет через тулупы. «Я искал, где теплее...» – оправдывался Леша. Он и не помышлял их будить, осень, ветер свистит, он лез и лез, зазубный, в гущу тел, пока не ткнулся куда-то, где было тепло. «Ну ясно: теплее, чем там у бабы, нигде не бывает!» – и захохотали артельщики, а он не понимал, хотел спать.

#### 4

Анна Романовна спрашивала у хозяйки, толстой и малоподвижной железнодорожницы, не надо ли чего подшить, поштопать, а та, женщина сердобольная, находила ей и давала сначала что-то свое или мужнино, а затем рубашки и майки своих сыновей. Началось с того, что Анна Романовна поселилась в комнатке, ходила на могилу, дышала воздухом, каким дышал тут ее муж много лет, более или менее было понятно, но затем она стала шить (сначала и это было обычно, понятно), но оказалось, что Анна Романовна шьет непрерывно: она штопала чулки, носки, пришивала какие-то карманы, потом, всплеснув руками, пришила-де плохо, отпарывала или распускала швы – и снова шила.

Лера тем временем влюбленно ходила за своим Василием. «Тебе-то что?» – спросила она меня. Но я и не упрекал, и характерно, что в полном согласии с той же любовью к пострадав-

шим я, как и Лера, не только не стал выискивать в Василии теневые стороны – я стал уважать его, даже восхищаться.

Между тем Вася был сам по себе не плох и не хорош. Зек как зек, который сначала искренне раскаялся, но затем на поселении очень скоро смекнул, что, в общем, он уже на свободе, что все позади, и распрямил плечи; ну и слегка обнаглел, не без того.

В поселке Новостройном, несмотря на романтику названия, строили совсем мало. Был там карьер, была работа на карьере, и было штук шесть бараков да полусотня частных домиков. Вот и все. Было, правда, кафе, где глуховато играла радиолка тех времен, по сути – забе-галовка с вывеской «Кафе», плохонькая и несытная, в которую, однако, жителей из частных домов пускали, а барачных, то есть бывших зеков, – нет. Но и, помимо кафе, Василий умел в те времена добыть выпивку, проскочив проверочный пункт где-то на въезде. Выпивший, он воевал с местными жителями, а также с милиционерами (их было здесь несколько – присмотр, так сказать), милиционеров Василий особенно не терпел и обзывал их, узнав это слово после знакомства с Лерой, интеллектуалами, что приводило и меня, и Леру в невыразимый восторг.

Он так и кричал им вместо приветствия:

– Ну, вы!.. Интеллектуалы!

И, конечно, Лера за него боялась, там и тут пытаясь смягчить его боевой характер. Сама дрожа зайчиком, она лезла в самую гущу свары. Висла на руках, оттаскивала его в сторону из барачной или из уличной перебранки, уговаривала: «Василий, но ты же совсем не такой. Ты *просто озлобился*. Перестань, Василий!» – или: «*Ты умный, ты чуткий, Василий. Но ты слишком озлобился, прекрати!*» – на что он, как водится, кричал: «Да пошла бы ты в болото!»

Василий закапывался в скорый романчик с поварихой или вдруг куда-то исчезал с потребсоюзовской мясистой агентшей, Лера находила, вытаскивала его, пьяного, из прокуренной комнатухи, уводила от этих женщин с простецкой и неконкурентной внешностью, отпавивала чаем, приводила в себя и все повторяла: «Василий. Ты опять озлобился? Тебе надо стать добрее, Василий...» – Лера жила им, дышала им. Она сумела не только полюбить, но и пере-мениться.

По дороге клубилась пыль – это Вася! Несколько раз разбивавшийся, но не сбавлявший скорости на жутких дорогах, Василий словно бы метался в ограниченном пространстве без права выскочить хотя бы на десять минут за черту поселка Новостройный, за пределы карьера и обогатительной фабрики, что в ста километрах. Полустепная местность пылила на весь горизонт – это мчал бывший зек Вася. А Лера его ждала. Зачастую на овальном пригорке с кустами шиповника, рядом с Лерой, ждал его я.

– Эх, Гешка, – говорил Василий, выпрыгнув из машины. – Мать твою так, да разве ж ты знаешь, что такое субботний шмон!

Он пожимал мне руку своей промасленной правой.левой рукой он обнимал Леру.

Особенно нравилось, когда Василий рассказывал про нары.

Про то, как медленно идут дни и человек, мол, на нарах невыносимо мучится – на нарах человек так ясно помнит свой далекий родной городишко, родные места, родные лица, пивную палатку и любимых друзей. А как быть?.. А никак – надо работать, вкалывать. Смотришь иной раз на конвоира, ветер воет, а конвоир с тоски поводит карабином туда-сюда и опять туда-сюда – тоже зябнет, ежится, снег да снег, да еще псы сторожевые вокруг зоны ходят и ходят...

Лера:

– Я еще в Москве предчувствовала, Василий. Я знала, что ты на нарах – и мне не нужен был вуз, не нужны слюнвявые студенты, не нужны лекции, не нужны фестивальные итальянские фильмы. Я знала, что снег и что в зоне ты сейчас выглянул из барака, глядишь на серое небо...

Он:

– Сползу, бывает, с нар. Вспомню вдруг песню про черного ворона. На душе тоска. И думаю: эх, ворон, ворон...

Василий был грабителем по пьянке – то есть скорее случайным, чем корыстным. Где-то там, в родном своем городке, изредка нападал он, будучи пьяным, на ночных прохожих, снимал часы и колечки. Ему дали восемь лет. Четыре он отбыл в лагере, а еще четыре отбывал на поселении, без права выезда из поселка Новостройный.

Он и здесь любил побуяннить, поорать, помахать кулаками, что не выходило, впрочем, за рамки поселковского быта.

– Это мой друг, – так Лера назвала меня Василию, и мы пожали друг другу руки изо всех сил.

Василий сказал:

– Дружба – это хорошо. Дружба – дело святое.

Он открыл мотор и стал копаться в нутре своей жуткой, невыносимо грязной и разбитой грузовой машины. Он мечтал от нее избавиться. Он мечтал наткнуться со всего маху на придорожный столб, но так, чтоб самому успеть дверцу открыть и выпрыгнуть. «Дадут мне новую, как ты думаешь? в таком вот хитрованном случае, если совсем не пьяный и прямо в столб, – дадут?» – спрашивал Василий, и я в тон ему, баском отвечал: «Должны дать».

Я вообще жил тогда – в тон. Но не только потому, что подражал Василию, и не потому, что сама ситуация, если я по-прежнему хотел с ними обоими быть рядом, как бы обязывала меня не противостоять и с ними ладить. Я был молод, порывист. И почему не признаться? – меня и точно брали за сердце его рассказы со слезой о нарах и шмонах.

Был там пригорок, лысоватый, покрыт невысокими кустами шиповника (минутах в десяти ходу от бараков) – оттуда открывался вид, широкий и определяющий кругозор, так что Лера могла заметить мчащийся грузовик Василия уже издалека. Там мы его и ждали. Бродили по пригорку, возле кустов шиповника с мелкими плодами – и, нет-нет, поглядывали.

Я рассуждал:

– Конечно, здесь, на поселении, жизнь, здесь настоящие люди. И, конечно, нам надо постараться жить здесь. Но надо и подумать: не получить ли все-таки образование, раз уж кончили два курса?

Она фыркнула:

– Глупости не говори! Чтобы работать весовщицей, мне здесь вполне хватит этих двух курсов. Еще и лишнее – разве нет?

Ведь Лера уже подрабатывала весовщицей (пока сдельно), она получала деньги, гордилась ими, швыряла их, а как-то однажды всю до рубля отдала получку Василию, чтобы он «просадил с друзьями». Да, да, для начала неплохо. Однако постоянную работу ей пока только обещали.

– ...Не лучше ли все-таки получить образование, а потом сюда вернуться? – говорил я.

– Вот и езжай – получай.

– А ты?

– А я буду здесь, пока здесь Василий. Я дождусь его, и мы уедем вместе. В одном поезде – только так! А уж потом мы подумаем об учебниках, о лекциях – и о тебе, глядишь, к тому времени вспомним, доцент!

Слово «доцент» у нас было тогда как бы ругательством.

Я отвечал:

– Но ведь Василия, возможно, *отпустят* не скоро, – я имел в виду, что Васе за его неукротимый нрав, за смелые слова могут добавить срок, и Лера отлично поняла – о чем я.

Тут поясню: Лере и мне тогдашние слова, поступки Василия казались неслыханно смелыми. Мы были в восторге, когда вслух произносилось «нары», «вертухай», «стукач», «зона», – мы упивались словами и как бы задыхались, как задыхаются не от недостатка кислорода, а от его избытка. (И от собственной, шаткой смелости – ведь, переспрашивая, мы тоже произносили слова вслух! Сердце млело, сердце было на плаву. Весь вечер длилось однажды у нас с

Лерой шептание на тему: «За Василием, конечно, следит стукач. Такой человек не может быть без стукача!» – и гадание: «Но кто же?... Неужели старый Михеич?»)

И вот, оглянувшись на мелкоплодный шиповник и на всякий случай понизив голос, я повторил:

– Василия, возможно, отпустят отсюда не скоро.

– Что ж. Тогда мы оба приедем в Москву позже. Ты к тому времени уже точно станешь доцентом – и примешь нас в вуз с облегченными вступительными. По знакомству примешь.

Повторенное слово «доцент» можно было считать уже умышленной обидой. Я смолчал. Я замкнулся.

На какое-то время мы оба замолчали; ни слова, тихо вокруг, кусты шиповника, и вот Лера попросила – тем ласковым, тем прежним, удивительным и ласковым голосом, который все реже был у нее в ходу, – тронула меня за рукав и попросила:

– Уезжай, а?

Звук чистый; после стольких лет сердце мое, по сути, уже мало что помнит, ни самой любви, ни ее утраты, но помнит этот чистый, галечный, звонкий звук голоса.

Пригорок порос с одной стороны небольшим кустарником, но был лыс и округл с трех других сторон, что давало обзор на уходящие обе дороги с захватом их перекрестка и петляющего отъезда вдаль. Мы ходили небольшими кругами, ожидая появления на дороге пыльной кометы – «Василий! Василий! это он – чувствую, как он гонит, я не ошибаюсь!» – порой Лера все же ошибалась, мало ли было мчащихся, пылящих машин, и тогда мы еще и еще кружили по пригорку, и при каждом новом обходе я примечал на пути (помимо основного кустарника – шиповника) кое-какую хвойную поросль и на отшибе необычайного вида мелкий орешник. Тот куст орешника был особенный: слева обломлен и смят, словно был ссечен, да и правой половиной рос он куда-то вбок, неуверенный в себе, покалеченный куст. И я все смотрел и смотрел на необычную его наклонность.



## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.